




ВОКРУГ  **СВЕТА**

9 1972
СЕНТЯБРЬ



1972

ВОКРУГ СВЕТА



№ 9
СЕНТЯБРЬ

Журнал основан в 1861 году

НАУЧНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ЦК ВЛКСМ
ПУТЕШЕСТВИЙ, ПРИКЛЮЧЕНИЙ И ФАНТАСТИКИ

На страницах номера:

К 50-ЛЕТИЮ СССР

Океан — рабочая площадка рыбаков. Репортажи наших корреспондентов из эстонского объединения «Океан» и с острова Кихну.

Человек, программирующий плодовые деревья. Рассказ о «чудаке» из Добеле — знаменитом селекционере Петерисе Упитисе.

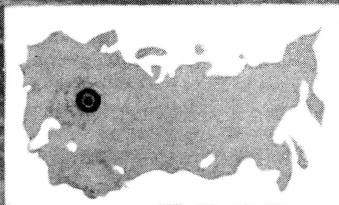
Опасность, риск, мужество. С этими категориями нередко сталкиваются морские инженеры-спасатели. Очерк «Три дня и три ночи в августе».

Что происходит в Италии? Кто ответствен за убийства, взрывы, насилие? О бурных и сложных событиях, потрясающих страну, рассказывает очерк «Ультра» — слева и справа».

Добрый огонь. Очаг. Роль его в жизни человека. Очерк «Отблески» и фотоочерк «У очага».

«Венгрия лесная» — редко так говорят об этой стране. Но одна шестая Венгрии — страны степей, пущы — действительно покрыта лесом. Заметки Иштвана Фекете, писателя-натуралиста.

«На «Ра» через Атлантику». Главы из книги Юрия Сенкевича, врача экспедиции Тура Хейердала.





К 50-ЛЕТИЮ СССР

Море, в котором работают ● Судьба рыбака Ханса Лехтла ● Объединение «Океан»: рождение индустрии рыболовства

Л. ОЛЬГИН, наш спец. корр.
Фото Х. ЫЙСУУ

„Океан“ у залива

В Таллине море дает о себе знать мокрым снегом, внезапно — среди ясно-го дня — налетевшим мелким дождем, промозглым вечерним ветром. Вы чувствуете это море, но редко его видите — разве что поедете к памятнику Русалке или на пляж в Пирита, Меревяля или Клоога-Ранд. Далеко не с каждого места в городе виден залив, и не ходят вечером горожан прогуляться по набережной, как на юге. Новые районы города тоже уходят от моря, как бы укрываясь от его холодного дыхания. И не ради моря приезжают в Таллин туристы.

Но в уличной толпе много людей в морской форме, а маршруты автобусов пестрят такими названиями, как «Дом моряка», «Рыбный порт», «Маячная улица», «Новый порт». И каждый из тех, кто едет по утрам в сторону Финского залива, едет туда на работу. Потому что в Таллине море — это море, в котором работают.

К объединению «Океан» автобус долго идет из самого центра, кружит по улицам, с двух сторон которых ровно стоят одинаковые деревянные дома с каменными подъездами, а во дворах аккуратно сложены дрова и торфобрикеты. Потом начинаются обширные незастроенные пространства, сменяющиеся бесконечным глухим забором. За забором громоздятся прикрытые брезентом штабеля, бочки, слышно гудение машин и видно множество кранов.

Лишь выйдя из автобуса, я увидел за забором море и понял, что все это время ехал мимо порта. Напротив остановки стояло длинное здание из серого кирпича, типичное административное здание.

Ветер здесь был уже не городской, не поручусь, что наполненный солеными брызгами, но резкий и влажный, и вздымались краны, и ползло по морю — почти прямо за зданием — какое-то суденышко, и головы входящих и выходящих людей венчали фуражки с «крабами»... И все это вместе навело на мысль о бородатых капитанах с трубками в зубах, штурвалах, якорях и всем том прочем, что связано с морем в представлении людей, от него далеких.

Узкие, очень длинные коридоры здания кишели народом; люди приходили, уходили, заходили в какие-то комнаты, ловили кого-то нужного. Большие двустворчатые двери, на которых висела табличка «Диспетчерское совеща-

ние», внезапно открылись, и в коридор хлынул новый поток — шли с совещания капитаны и начальники служб. Часть из них была в морских тужурках с погонами, украшенными лычками; другие имели вид обыкновенных служащих.

Они проходили мимо меня, жадно затягиваясь папиросами, продолжая свои разговоры, начатые, наверное, еще до совещания.

— Тридцать тонн технического рыбьего жира, ты посчитай, сколько надо тощей сельди...

— ...Если нового пресса для филе не дадите, я от такого плана отказываюсь.

— Вот тебе и весь ассортимент! А я говорю: в томатном соусе...

— ...отличного механика! Зайдешь ко мне, я тебя познакомлю...

— Анализ анализом, а без лаборантки дело станет. Или давайте единицу, или...

Каравеллы и бригантины в разговорах не присутствовали. Трубок никто не курил. В руках у всех были портфели и папки. И вообще все это напомнило мне главк, куда съехались директора заводов, или — еще больше — утреннюю планерку у директора завода.

Когда разговорившись с одним из диспетчеров, я в самом начале нашей беседы сказал, что вот, мол, думал увидеть здесь разные архиморские вещи («Паруса, надутые ветром?» — вставил он, улыбнувшись), а увидел нормальное производство, завод, что ли, — диспетчер поддержал меня. Ему даже понравилось это выражение, хотя понял он меня по-своему.

— А что вы думаете, завод и есть. Океан кустарщины не потерпит. Тут навалиться надо всем вместе. Вот и получается завод. А это цеха, — он ткнул пальцем себе за плечо.

За его спиной висела огромная карта Атлантического океана. Океан был усеян вырезанными из картона овалами: красными, желтыми, зелеными. Вокруг фигурок покрупнее толпились фигурки поменьше. Больше всего их скопилось у западных берегов Африки, совсем рядом с континентом. Другие держались у берегов Канады, некоторые — у самого выхода из Балтийского моря в океан. И наконец, несколько овалов были разбросаны по всей голубоватой поверхности Атлантического океана.

— Вот эти, — диспетчер, зажав в пальцах авторучку и поль-

зуясь ею как указкой, ткнул в крупный значок, — наши рефрижераторы. Эти — транспортные суда. А эти (мелких было больше всего) — промысловики, они то и есть собственно рыбаки. Их положение на карте мы меняем каждый день. Если протянуть к ним нити, получится сеть, что ли, здоровая сеть на весь океан. А сойдутся нити тут, — он ткнул авторучкой в пятиконечную звездочку на берегу Финского залива, — тут, в Таллине, в нашем объединении. Представляете себе? Весь океанский флот республики. Часть колхозам принадлежит, часть рыбокомбинатам. Раньше ходили на свой, так сказать, страх и риск. Но ведь это же океан, а не залив наш. Это же понимать надо! За всеми судами глаз да глаз нужен. И за океаном тоже. Добыча рыбы — это ежедневная задача со многими неизвестными. Тут, знаете, такие иксы и игреки... Мы, к примеру, планируем столько-то и столько-то серебристого хека. А хеку, между прочим, начхать на наши планы, хотя в них черным по белому сказано, сколько ему, хеку, надлежит быть пойманным. Он себе махнул хвостом и ушел. Хек хитер, океан велик, но и у нас головы на плечах не только для того, чтобы фуражку носить. Каждый день у нас на карте — общая картина промысловой обстановки. И тогда мы одному капитану приказываем перебраться миль на пятьсот-шестьсот, другому меняем хека, ну, скажем, на тощую сельдь (вы только не подумайте, что это сельдь, похудевшая по каким-то причинам, нет, это у нас термин, название породы).

В общем, правильно сказано: завод. Только здесь начальника цеха к директору не вызовешь, от кабинета до «цеха» тысячи миль...

Конечно, и тут, как говорится, без накладок не обходится — дело все-таки новое. «Океан» пока есть только в Эстонии: здешние колхозы давно уже взяли за океан. Я имею в виду Атлантический. Вам, кстати, не приходилось в нашей рыбацкой деревне бывать?

...В Раннакиви, симпатичном рыбацком поселке, я прожил как-то почти месяц. Жил я у Бразильца Ханса в комнатенке под крышей. Из окна мне виден был негустой сосновый лесок, берег, усеянный валунами, и море, менявшее в зависимости от погоды и времени дня оттенки серого цвета. Длин-

ные ряды распяленных на кольях сетей перегораживали берег на некие коридоры, и время от времени я видел, как бродит по ним, прихрамывая, Бразилец Ханс. Ханс внимательно рассматривал сети, щупал их, поправлял, а то, пододвинув деревянный чурбачок, садился, вытянув ноги, и принимался орудовать иглой гигантских размеров. Иногда к нему подсаживались белоголовые курносые мальчишки и молча смотрели, как сует туда-сюда игла. Бывало, Бразилец так же молча передавал иглу им, и они — разве что чуть помедленнее, но не менее аккуратно — продолжали его работу. Ханс же, отойдя на пару шагов, наблюдал за ними, и на лице его появлялось выражение удовлетворенности. За домом оборудована была маленькая копильня, и вечерами Бразилец подолгу сиживал на ее порожке. Перед ним расстелен был брезент, а по левую руку стояло ведерко, полное рыбы. Он брал рыбину, делал неуловимо быстрое движение ножом, и распластанные рыбы тушки ложились в ряд на брезент. Ханс зачерпывал из небольшой бадейки соль и таким же неуловимым движением натирал рыбину.

Каждый вечер я сидел рядом со своим хозяином, следя за рыбинами в его руках, и безуспешно пытался расчленив его движения на простые составляющие.

Мы дымили «Примой» и вели уютные беседы, где, повинувшись бог весть каким ассоциациям, темы незаметно переходили одна в другую, едва возникнув. В один из первых таких вечеров я спросил Ханса, почему его зовут Бразильцем. Но он, хмыкнув («Нáзравад, кúрат, пóле рóхкем» — «Так, мол, для смеху»), разговор не поддержал.

Прозвище Ханса я услышал в первые пять минут пребывания в Раннакиви, когда, сойдя с автобуса, обратился к двум пожилым женщинам с вопросом, кто бы мог сдать мне комнату. Женщины маленько посоветались («У Линдхолма?» — «Нет, к ним сын из Тарту приехал». — «У Вареса?» — «У Бразильца, наверное, лучше...»), а потом одна из них проводила меня к дому, где на калитке сияла надраенная медная табличка «Ханс Лехтла».

Так я поселился в доме Бразильца Ханса. На шкафу в его гостиной лежала огромная белорозовая нездешняя раковина; в углу комнаты стояло сделанное на совесть тяжелое кресло-качал-

ка, а на стене висела картина: люди в уютной лодчонке, протягивающие руки к тусклому свету еле видного в тумане маяка.

Потом уже, побывав и в других домах, я убедился, что раковина и качалка были неизменными атрибутами здешней обстановки. Это, кстати, казалось совершенно естественным здесь, в рыбацкой деревушке в Северной Эстонии, где все так или иначе связано с морем.

Эстонцы, говоря на своем языке, не употребляют отчества и поэтому обращаются друг к другу по фамилиям, добавляя иногда должность или еще какое-нибудь приличествующее слово. Учителю, скажем, говорят «Ыпетая» — «учитель»: «Ыпетая Кирсимаяз» или «Ыпетая Хирс», врачу — «доктор»: «доктор Мяги», «доктор Миляндер» и так далее. В Раннакиви называли друг друга «кэптен» — капитан, особенно если младшие обращались к старшим. Как-то, когда у нас с Хансом кончились спички, а магазин уже был закрыт, Ханс крикнул сыну: «Рейн, сбегай к капитану Вееборну, попроси спичек». Звучало это так же, как в других местах «сбегай к дяде Петю» или «к Семен Семенычу».

А Вееборн, заходя к нам, спрашивал у хозяйки: «Капитан дома?»

...В Северной Эстонии крестьянин, говоря о своем участке, обычно называл не только его величину, но и показывал толщину почвы. Показывал, понятно, на пальцах, располагая большой и указательный почти параллельно друг другу. Сделайте это, и вы наглядно убедитесь, как тонок слой этой почвы. Прямо под почвой начинается известняк, камень красивый для строительства (из него построены почти все здания старого Таллина), но ничего не родящий. Да и почва, весь слой которой уместается между двумя пальцами, почти сплошь пронизана чешуйками известняка. На этой скудной земле эстонские крестьяне выращивали картофель, которым не только себя обеспечивали, но часть продавали на экспорт. Сорт «Йыгева коллане» хорошо знали в Англии. А все же сколько потов ни проливай в эту землю, всех ею не прокормить. Хорошо, рядом море. По побережью деревни сплошь были рыбацкие, как Раннакиви. Прибрежные жители и островитяне — с Сарема, с Хиума, с Муху, с десятков меньших островов были рыбаками и крестьянами. Больше все же рыбаками. Да и те, кто кормился ско-

рее от земли, чем от моря, тоже обязательно держали в хозяйстве лодку и сети — какое-никакое, а подспорье. Такие в море ходили в одиночку, и улов у них бывал невелик. Настоящие рыбаки предпочитали работать артелью. Наверное, потому, что с морем бороться в одиночку гораздо труднее, чем с клочком земли, как бы ни был тощ и тонок слой почвы на нем.

В Раннакиви рыбаками были поголовно все. Ловили кильку, салаку, угря, морского окуня. Килька и салака — самая эстонская рыба. Кстати, названия обеих рыбок перекочевали в русский язык из эстонского.

...Ханс Лехтла вышел впервые в море в четырнадцать лет. До того он, как и другие раннакивские мальчишки, ловил удочкой, учился вязать сети, сумел бы разделывать рыбу, представлял себе повадки рыбьих косяков. Но в четырнадцать он вышел в море как настоящий рыбак на баркасе, которым командовал его отец. Дело-то было простенькое — выбрать улов из расставленных накануне сетей, и берег все время был на горизонте, ни разу не скрывшись, и погода была как по заказу, а вернувшись к вечеру домой, как сел Ханс на кухне в уголке сапоги снять — так и заснул, взявшись обеими руками за голенище высокого — выше колена — сапога.

Мать хотела его, сонного, разуть, но отец не позволил: рыбак должен уметь позаботиться о себе сам. Разувался Ханс, проснувшись ночью. Только глаза закрыл снова, как отец растолкал его: пора в море. Задремал было в море, и тут же получил хороший удар в лоб рукояткой весла. Из глаз искры, а тут отец:

— Са, куради поэг (чертов сын), нашел где спать!

Воспитательные методы у отца были суровые, да разве можно иначе вырастить человека, чтоб он не боялся работы в море?!

В восемнадцать Ханс мог после целого дня в море спокойно бежать в Народный дом на танцы и вернуться домой к рассвету. Пару часов подремлешь — и опять в море.

— Однажды нашего раннакивиского парня в Народном доме спросили, почему он все за стенку держится, боится на середину выйти. А он и говорит: боязно, мол, больно пол ровный и не шатается.

Говоря, Ханс ни на мгновение не прекращает работу: раз — и рыбка занимает свое место на брезенте, два — новая рыбка

в руке. Кисть его правой руки на вид неподвижна, а нож как бы сам ходит в ней по сложной кривой.

— Ты знаешь, зачем у нас у всех качалки стоят? Качаешься в ней, как в море. Сам себе шторм делаешь. Ну а самое большое удовольствие — это когда раскачаешься вдоволь, а старуха тебя внезапно водой из ведра окатит. Только вода должна быть морской, от колодезной себя чувствуешь как мокрая курица. А от морской отряхнешься и крикнешь своей старухе: «А ну еще разок!»

...В двадцать два он ушел из дому и нанялся на корабль матросом. В прежние времена многие парни из Раннакиви поступали так же. Повидав свет и поднакопив денег, они возвращались домой, приобретали баркас (иногда даже с мотором) и капитанили — начинали самостоятельно рыбачить. Хансу не повезло — в первом же рейсе он повредил ногу и был списан на берег. От вынужденного сидения на берегу освоил Ханс нынешнюю свою профессию: мастер по рыболовным снастям.

— Приехал как-то наш раннакивиский парень в город. Попал в компанию. За столом стали все рассказывать, кто где бывал. Этот и в Таллине, и в Тарту, и в Выру, и в Тярве; тот — в Килинги-Нымме да в Рыngu, третий вообще чуть до Риги не добрался. Наш сидит слушает, даже рот раскрыл. Те его и спрашивают, ну, мол, а ты-то что-нибудь видел, был где? А наш знай отмахивается: «Куда мне до вас! Вы вон все сколько повидали, а я только и был, что в Канаде да в Бразилии...»

— Не ты ли это был, капитан? — интересуюсь я. — Не зря ведь тебя Бразильцем зовут.

— Где там! — смеется Ханс. — Кто у нас тут из капитанов в Бразилии не был! Меня-то потому Бразильцем зовут, что я только в Бразилии был, больше не пришлось плавать, как ногу повредил.

И он, шлепнув себя левой рукой по ноге, хватает из ведра очередную рыбку...

Я вспоминаю рыбацкую деревушку, ее капитанов и терпеливо жду, когда смогу продолжить разговор с диспетчером. Он занят: одна за другой к нему поступают радиogramмы:

Танкер Аргон полагает заход Санта-Крус принимает заявки на

**скоропортящиеся продукты тчк
следим частоте 500 кгц тчк
Оявере**

**Связи создавшейся
необходимостью тресковых шкур
клайпедском клеевом участке
прошу сообщить возможности
демонтажа шкуросьемной
машины установленной вашей
плавбазе зпт доставке порт
любым следующим порт судном
целью передачи ее клайпедскому
рыбоконсервному заводу тчк
Громов**

Каждый день каждое судно, где бы оно ни находилось — у берегов Канады или у побережья Сьерра-Леоне, — сообщает в «Океан» данные о положении на промысле. В «Океане» на ежедневном промчасе принимают оперативные решения. И вот уже спешит в заданном направлении рефрижераторное судно, и покидают квадрат, где кружили безрезультатно несколько дней, промысловики. Зачастую причина этого решения не сразу видна в море, но зато совершенно ясна в «Океане», где десятки радиogramм как зерна мозаики создают общую картину работы в океане.

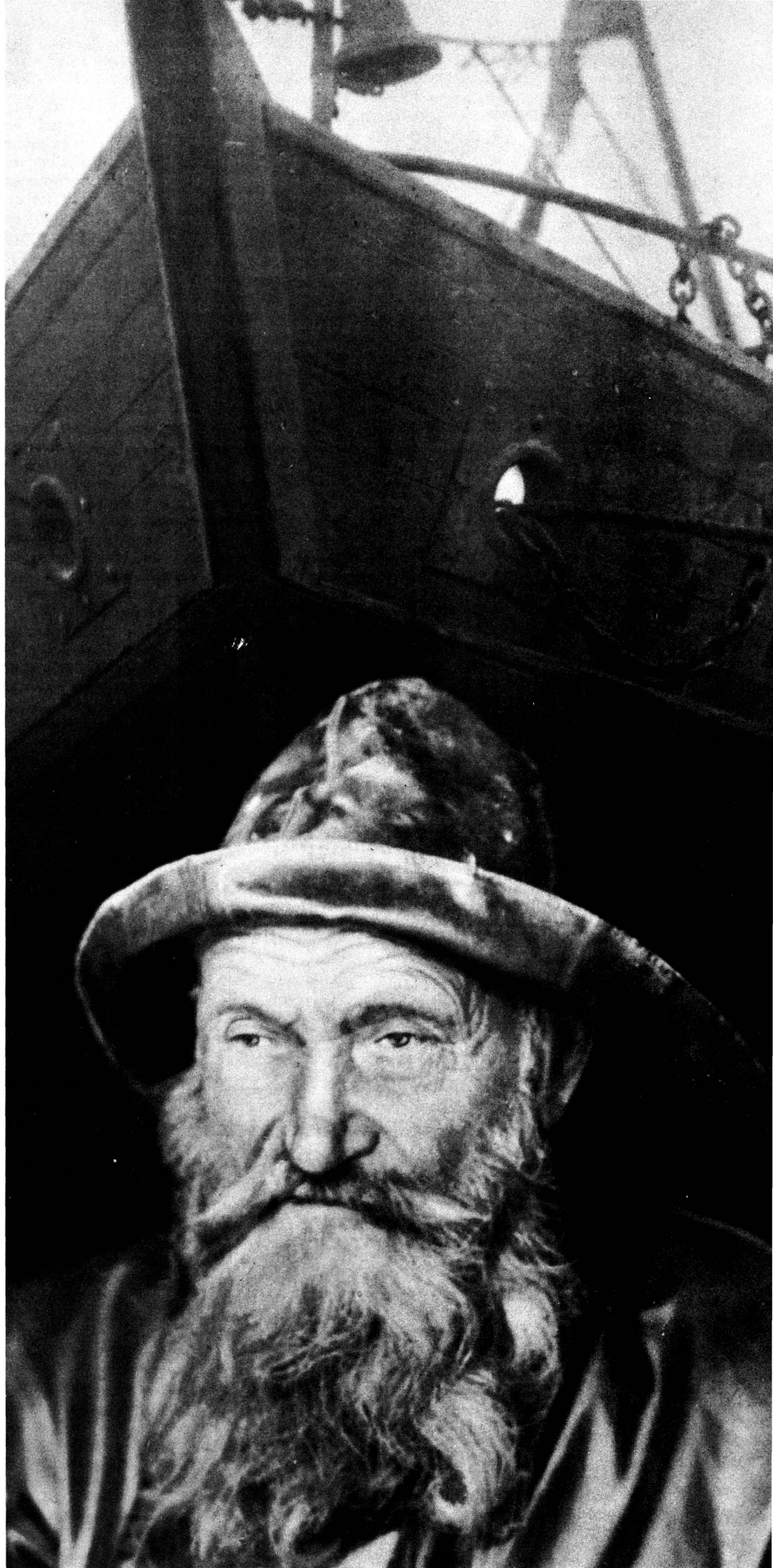
Летят в эфир нормальные производственные заявки. Необходим электросварщик. Срочно высылайте в Дакар, куда придет принадлежащий «Океану» рефрижератор. Идет с пометкой «срочно» радиogramма:

**Внимание! Всем судам в океане!
Предупреждение серьезной
опасности конце декабря
1971 года расстояние 200 миль
юго-востоку от побережья Новой
Шотландии бразильским судном
потеряно 150 бочек чрезвычайно
опасного жизни людей вещества
тчк бочки находятся плавучем
состоянии более двух лет тчк
они могут быть занесены
течениями к берегам Канады
Ирландии Британским островам
берегам Европы и Скандинавии
тчк приметы бочек двтчк серые
металлические из стального листа
вращающимся обручем и
емкостью около 250 литров тчк
на одной стороне бочки надпись
на другой тире**

Новая радиogramма. Промысловым судам. Транспортным судам. Идет обычный рабочий день. В «Океане». В океане.

Старый рыбак Юхан Везик.

ФОТОРЕПОРТАЖ С ОСТРОВА КИХНУ





ФОТОРЕПОРТАЖ С ОСТРОВА КИХНУ

Неподалеку от города Пярну, в Рижском заливе, лежит небольшой эстонский остров Кихну. По утрам, когда прозрачные летние туманы тают и исчезают в глубинах сосновых лесов Кихну, оживают островные дороги. Из поселков к гавани спешат на мотоциклах рыбаки. Некоторые задерживаются на берегу, выносят из складов и проверяют новые светло-зеленые сети, а большинство сразу натягивают рыбацкие робы и на лодках, баркасах отправляются за десятки миль к ставным неводам. Круглый год промышляют в море рыбаки рыболовецкого колхоза «Ньюкогуде партизан», но самое урожайное время — май, июнь, июль. По 30, 50, 70 тонн рыбы за день вылавливают колхозники в путину. Угорь, килька, щука, окунь, сиг... Но главная рыбка Кихну — салака. Часть свежей рыбы отправляют на материк, остальная идет в засол или на колхозную коптильню. Сладко чадят ольховые поленья в печах коптильни, и через несколько часов плоские деревянные ящики полны золотистой салаки.

Фото В. АРСЕНЬЕВА





Латвийский селекционер, ученый с мировым именем Петерис Упитис запрограммировал около 1500 сортов плодовых деревьев, вырастил уникальный абрикосовый сад и вырвался с ним на 900 километров к северу от «абрикосовой» границы.

НАДИР САФИЕВ,
наш спец. корр.

Обыкновенный человек Петерис Упитис

ЖИВЕТ В ДОБЕЛЕ, в семидесяти пяти километрах от Риги. Когда в присутствии кого-нибудь из рижан заходила о нем речь, следовали восклицания: «О!.. О!.. Как же, как же, это величайший оригинал!», «Вы, кажется, намерены проникнуть в его дом и сад? Это не так просто!» Естественно, что после таких реплик я решил, прежде чем ехать в Добеле, позвонить Упитису. Назвав себя в телефонную трубку, сказал, что собираюсь приехать, и на том конце провода мягкий и размеренный голос спокойно ответил:

— Нет, это невозможно... Сейчас весна, и у меня день идет за год... Я работаю в саду, с рабочими...
— Хорошо, я тоже возьму лопату.

Он словно не расслышал и невозмутимо продолжал:

— Оставьте свой адрес. Когда я смогу вас принять, напишу.

— Но я не каждый день бываю в Латвии.

— Ничем не могу помочь.

— Я бы мог приехать в субботу или воскресенье.

— В эти дни у меня научная работа.

— Хорошо, тогда я приеду в понедельник?!

— В понедельник начнется другая работа...

В это время в разговор вклинилась телефонистка, и я крикнул:

— Я приеду во вторник!

— Когда? — скорее удивился, чем переспросил, Упитис.

— Утром, — быстро сказал я и бросил трубку.

Облегчение, которое пришло после этого разговора, было моментально рассеяно в Союзе писателей, где мне объяснили, что Упитис после звонка может принять меня, но у калитки спросит, что я хочу от него, и затем скажет «до свидания». И чтобы этого не случилось, посоветовали переговорить с поэтом Имантом Зиедонисом, который одну главу своей книги «Курземите» посвятил Упитису.

...Уже сейчас, когда наша встреча с Упитисом

состоялась и прошло немало времени, а я все еще нахожусь под впечатлением этого человека, — я с удовольствием перечитываю строки о нем и его доме, написанные Зиедонисом:

«В темноте кажется, что ящики разваливаются, семена как бы пробуждаются внезапно, все луковицы лопаются одновременно — и мы, наверное, не выйдем живыми из этого дома. Ростки разрывают бандероли с марками всего мира, а из чашечек лилий, как из труб огромных граммофонов, течет в комнату благоухание. Смешение запахов, и красок, и звуков, и очень хочется жить с такой же чертовской одержимостью, с какой живет этот старик и благодаря которой сады цветут, и люди замедляют шаг и удивляются: что же это за человек, создающий все это? И существует ли он вообще?..»

Я проследил одну данную природой черту, которая доведена в этом человеке до гениальности, до такой самоотдачи, что многим это кажется ненормальным или курьезным. Как будто гениальность может и не быть чудной, как будто гениальность уже сама по себе не является отступлением от нормы. Я хочу сказать, что слишком мало мы помогаем тем людям, которые в силах создать нечто неповторимое, нечто такое, что могут создать только они. Нельзя приказать молнии: «Ты пока не сверкай! Накопятся еще две-три молнии, тогда и сверкайте все вместе». Талант — сила стихийная, и если он посылает свою молнию туда, где необходимы нам свет и дождь, то пусть он сверкнет, озарит, пусть польхает, даже если он единственный. Наша обязанность помочь ему... И еще я думал о стиле человека, о том, как он приходит в мир, как он идет по нему и как из него уходит. Упитис как-то сказал: «У каждого облачка есть серебряный краешек». Имел ли он в виду мою, или свою, или вашу жизнь?..»

Но тогда я всего этого не знал, и поэт Зиедонис был для меня трамплином, с помощью которого я хотел долететь до «чудака» Упитиса. Однако Имант Зиедонис сказал мне, что если я хочу действовать наверняка, то лучше всего связаться со старым другом Упитиса Раймондом Бочем, чтобы тот сам позволил в Добеле.

...Три дня Боч не мог дозвониться Упитису — похоже, тот и ночь проводил в саду. В понедельник, в двенадцать ночи, Боч назначил мне встречу на углу улицы Алояса у троллейбусной остановки. Он сказал, что приготовил письмо для Упитиса. Мы не уточняли, кто в чем одет и как выглядит. За эти три дня, пока Боч дозванивался Упитису, а я осаждал телефон Боча, казалось, мы легко отыщем друг друга даже в толпе, во всяком случае, так казалось мне.

Опустевший троллейбус шуршит по блестящим от дождя улицам.

Раймонд Боч одиноко стоит на углу. Едва я подошел, он протянул мне руку:

— Пойдемте, я вас провожу, — сказал Боч, и мы направились по маршруту троллейбуса к центру.

Несмотря на морозящий дождь, Боч шел с непокрытой головой. Я все ждал, когда он передаст мне письмо для Упитиса, но Боч шагал молча и наконец спросил:

— Расскажите, как вы ему позвонили.

Я рассказал все, подробно и честно.

— Я бы не хотел, — заговорил Раймонд Боч, — чтобы Маэстро показался вам странным. Вы представляете, как ему трудно. Он работает в день по восемнадцать-двадцать часов, и у него на другое (он выделил это слово) не остается ни времени, ни сил. У Маэстро тридцать девять тысяч растений, только одних абрикосовых деревьев шестнадцать ты-

сяч. Понимаете? Абрикосы на севере. По-моему, нет ничего странного, что человек, который является членом крупнейших в мире обществ по выращиванию ирисов, роз, северного ореха, человек, который ведет переписку с северным и южным полушариями, получает пыльцу роз из Японии, в Австралию отправляет свои лилии (кстати, он один из двух селекционеров нашей страны, кто числится во всемирном списке людей, выращивающих лилии, второй — москвич Еремин), — нет ничего странного в том, что Маэстро отмежевывается от лишних людей, от ненужных встреч... Когда Маэстро упрекают в нелюдимости, он вспоминает Омара Хайяма: «Ты лучше голодай, чем что попало ешь, и лучше будь один, чем вместе с кем попало...»

Было совершенно очевидно, что Боч старается развеять нелепый миф о чудачествах своего друга. Чувствовалось, что он готов ходить со мной до утра под дождем, лишь бы встреча с Упитисом не оказалась для Маэстро ненужной, лишь бы я не стал для него лишним человеком, и я благодарен Бочу от чистого сердца...

— Он все делает один и рядом с собой не терпит людей, не умеющих работать так, как он сам, будь то друг или просто его коллега... Вот вы пошли бы к нему работать? Могли бы выдержать ежедневно по восемнадцать-двадцать часов? Молчите? Нет, конечно же, нет... Я часто говорю ему: «Тебе нужен ассистент», хотя отлично понимаю, что такой человек едва ли найдется. Маэстро живет в другом измерении, по другим временным масштабам. Однажды к нему пришел человек из Института земледелия и спросил, как бы Упитис хотел отметить свое семидесятипятилетие. Он просто хотел помочь отметить этот день, но Маэстро ответил: «Я люблю круглые даты, и буду отмечать только столетие, столетипятилетие, двухсотлетие...» Человек схватился за голову и больше не появлялся. Многие не понимают, что это не чудачество. Ведь различные сорта плодовых деревьев запрограммированы Упитисом на сто, на двести лет, то есть они дадут удивительные плоды на севере через многие-многое годы. Разумеется, и самому Маэстро понятно, что человеческая жизнь имеет пределы, но он терпеливо продолжает свой труд...

Раймонд Боч осторожно посмотрел на меня уставшими голубыми глазами и так же осторожно продолжил:

— Как-то Маэстро со свойственной ему прямоотой, которая иным кажется грубостью, сказал одному известному ученому: «Покажите мне свое яблоко... Вы же все пишете и пишете... Покажите мне ваше яблоко!!!»

Незаметно мы дошли до центра города и остановились у Академии художеств.

— Жаль, что я не могу с вами поехать, — сказал Боч. — Мне очень хотелось бы встретиться с Маэстро...

— Разрешите, теперь я вас провожу, — предложил я, и мы направились обратно по ночной Риге.

...И вновь, уже здесь, в Москве, перелистывая Зиедониса, читаю: «Около 1910 года была издана книга о вежливости. В ней говорилось: «Если ты в гостях, то никогда не требуй, чтобы там было так же, как в твоём доме». И понимаю, что Боч деликатно намекал мне на это, рассказывая о Маэстро. Зная нашу суетную городскую жизнь, наши пристрастия и привязанности, он осторожно проводил грань между нашими домами, с уважением относясь к обоим, но предпочтение отдавал дому Упитиса.

— Последний раз я был у Маэстро с Имантом Зиедонисом. Была теплая осень, и цветы начали вторую жизнь. Хозяин нас отправил в сад и сказал,

что сейчас подойдет. Гуляя по саду, мы неожиданно увидели странную картину: большие клумбы роз словно разворочены бульдозером. Мы стоим и волнуемся — вот-вот подойдет Маэстро, и что же с ним будет, когда он увидит все это? И тут мы услышали за собой его бодрый и громкий голос: «Вот как природа помогла селекционеру, — и, повернувшись к прекрасным розам, добавил: — Природа сама определила сильных, слабые погибли». А затем объяснил, что ночью были заморозки и выжили лучшие... Представляете, Маэстро двадцать пять лет работал над грушей и только на двадцать пятом году признал плод. Он с деревом на «ты». Он слышит дерево, понимает его. Одно из абрикосовых деревьев он назвал «Мой прекрасный друг»... После войны он с мешком за спиной на велосипеде объездил всю республику, изучал каждое дерево. В то время нас с ним попросили отобрать сорта яблок, картофеля для наглядных пособий техникумам и вузам. Тогда же Маэстро предложили место лаборанта в институте, он удивился: «Зачем мне эта должность? Лаборант моет посуду...»

Я наконец-то понял, что мой ночной собеседник Раймонд Боч агроном, но мне почудилась грустная нотка в его голосе, и я спросил Боча об этом.

— Да, я неудавшийся агроном, а сейчас работаю «бюрократом», — с юмором ответил Боч, — управляющий издательством «Сельхозучснаб»...

Мы уже подходили к остановке, откуда начали ночную прогулку. Оба изрядно продрогли, но меня спасали сигареты. Боч протянул мне письмо к Упитису и то ли в шутку, то ли всерьез предупредил:

— Учтите, у Маэстро есть еще одна особенность: у него в доме нет еды. Он признает только растительное масло, крупы и плодовые соки... — И, уже уходя, добавил: — И совсем не переносит табачного дыма...

В Добеле шел косой дождь. Выйдя на привокзальную площадь, я вдруг вспомнил, что не знаю адреса Упитиса. Куда идти? В этот ранний час было пусто, безлюдно. Я пересек площадь и зашагал вдоль дороги. Впереди, на обочине, шофер копался в моторе «газика», я подошел к ожидавшей его девушке и спросил, не подскажет ли она, как найти дом Петериса Упитиса. Порывшись в памяти, она переспросила:

— Садовник, что ли?

Я подумал, что, пожалуй, это тот Упитис, который мне нужен, но на всякий случай уточнил:

— Может быть, в городе есть еще Упитис?

Она о чем-то переговорила с шофером петлятышски и ответила:

— Нет, у нас Упитис один.

Когда стало ясно, что речь идет о Маэстро, я счел необходимым внести поправку:

— Упитис — большой ученый...

Но девушка словно не услышала, сочтя, очевидно, поправку несущественной. Шофер, не вдаваясь в подробности, предложил:

— Садитесь, мы будем проезжать мимо.

Очень быстро «газик» выкатил на окраину города и задрожал на раскисшей, ухабистой дороге. Я поглядывал по сторонам, стараясь угадать дом Упитиса, и на всякий случай спросил шофера — далеко ли еще?

— От последнего дома, по другой дороге, — ответил он, — с километр будет...

— Вы меня высадите на развилке.

Шофер искоса глянул на меня. Вскоре «газик» затормозил, я соскочил на дорогу.

Проходя мимо фермы, я увидел женщин в резиновых сапогах, грузивших на телегу бидоны. Когда я

спросил, как пройти к дому Упитиса, одна озорно подмигнула другой и сказала:

— Вот по этой дороге выйдете к его дому. Там на окнах большие пальмы, — и вдруг засмеялась, — ни у кого таких пальм нет.

Было что-то обидное в том, что в это серое утро здесь на окраине маленького латышского городка, женщину сместили пальмы Маэстро.

Осторожно выбирая, куда ступить, чтобы не утонуть в раскисшей дороге, я вспоминал прочитанное где-то, как композитор Бородин приехал в Веймар и у первого встречного спросил, где живет Лист, не сомневаясь, что великого композитора знают все. Прохожий подумал и, в свою очередь, тоже спросил, не колбасника ли господин имеет в виду. Бородин пошел дальше и спросил у другого человека, но ответ был тот же: «Вы имеете в виду мясника?» И только заметив нотную лавку, Бородин без колебания вошел в нее, надеясь наверняка получить здесь точный адрес. «Вы имеете в виду учителя музыки?» — переспросил хозяин и указал, как пройти к Листу...

Я вспомнил об этом потому, что «садовник» и «учитель музыки» — это так мало, это так непростительно живущим рядом с этими людьми...

Я медленно шел вдоль сада Упитиса, огороженного сетчатым забором. Стройные колонны деревьев, омытые дождем, уходят в глубь сада, смыкаются, превращаясь в густые заросли. В грядках между деревьями поблескивают металлические бирочки, и я понимаю, что каждая посадка с рождения растет под своим номером. Чем дальше вдоль сетчатого забора, тем очевиднее, что «сад» не точное слово, что это скорее плантация или фруктовый лес, причем грядки между деревьями ухожены так, словно все растет в парниках, а не под открытым небом.

Небо сплошь затянато серыми тучами, и мелкий дождь сыплет и сыплет. Похоже, что он зарядил на неделю. Заглядевшись на сад, неожиданно выхожу к дому Упитиса. Двухэтажный особняк похож скорее на мастерскую скульптора, с большими окнами. Неторопливо подхожу к парадной двустворчатой двери. Мимо проходит рабочий, кланяется: «Лаб диен!» и, уходя, несколько раз оборачивается в мою сторону. Мне кажется, что он сейчас остановится и с лукавой ухмылкой будет смотреть, как я безрезультатно начну стучать в дверь. Стучу. Тихо. Никого... Еще раз стучу, затем дергаю дверь — и она спокойно открывается. Захожу в прихожую, где стоит дорожный велосипед, большой, старый, весь в глине. Впереди еще одна дверь. Снова стучу, снова молчание и опять захожу без дозволения. Двери направо, налево, впереди лестница на второй этаж. На лестнице пальмы. Запахло землей, сыростью. Наугад стучу в правую дверь и вдруг слышу шаги. Вышла женщина в переднике, руки в земле. Спрашиваю Упитиса. Она исчезает в одной из дверей...

Маэстро — плотный человек в шерстяном пиджаке, с обмотанным вокруг шеи шарфом, сидит за письменным столом. Прежде чем поздороваться, я как визитную карточку подаю письмо:

— Это вам от Раймонда Боца.

Он принял письмо и, не глядя на него, протягивая мне руку, спросил:

— Вы знаете Омара Хайяма? — Я не ожидал такого вопроса и, кажется, смутился. — Садитесь, — указал Маэстро на стул против себя. Нас отделили два письменных стола. Хозяин протянул мне нью-йоркское издание Омара Хайяма, а сам взял ножницы и начал вскрывать письмо. Руки у него были большие, крестьянские, задубевшие от сырой земли и ветра. Задумчиво читая письмо, он вдруг проговорил: — В Нишапуре целый холм роз у могилы Хайяма. — Трудно было понять, процитировал

Маэстро письмо или это были мысли вслух. Я не знал, как реагировать, и потому продолжал листать томик Хайяма с прекрасными цветными иллюстрациями. Они были стилизованы, но не настолько, чтобы не угадать их исходную — персидскую миниатюру.

— Обратите внимание на линии и объем рисунков, — проговорил Маэстро. — Издание основательное... А вот... — Он грузно встал и потянулся к книжной полке за спиной. И тут только я увидел целый каскад ящиков, обыкновенных грубо сколоченных ящиков из-под фруктов. Они стояли вдоль стены от пола до потолка. Это и были книжные полки. Все заполнено книгами: книги на столе, в ящиках, под столом... Присмотревшись, я увидел, что даже стопка выглаженного белья лежит в ящике. Здесь же, у торца письменного стола, узкая тахта. Значит, здесь он работает и спит. Во всей кажущейся на первый взгляд неразберихе угадывается подчинение всего уклада жизни одной-единственной цели — все должно быть под руками, ни минуты попусту, все так, как удобно именно ему, а не другому человеку. И словно в подтверждение этого Маэстро быстро извлек из груды книг очередную томик Омара Хайяма.

— А вот и наше латышское издание... Меня не оставяло ощущение экзаменуемого студента, с одной стороны, и человека в мокром плаще, которому в любую секунду могут указать на дверь, — с другой. Я взял уютную, небольшого формата книжечку и, как на экзамене, начал отвечать, что эти рисунки более локальны, и в них сильно влияние латышской графики и что в этом издании формы более полные в отличие от изящных восточных миниатюр...

— Это наш художник Станкевич... издано на уровне мирового стандарта, — сказал Маэстро.

...Из широких окон дома сквозь мелкую сеть дождя был виден все тот же пейзаж: ровные ряды фруктовых деревьев, грядки, глубокие борозды от тракторных колес. Слово следуя за моим взглядом, Маэстро пояснил:

— Слева абрикосовые деревья, справа черешня... — и вдруг улыбнулся: — Не странно? На пятьдесят седьмом градусе северной широты — и вдруг абрикосы? — И вновь точным движением из груды книг и конвертов вынул цветные снимки: — Это абрикосы, гибрид № 516, а вот 906,56-71... — На снимках — окропленные утренней росой розовые плоды. — Фотографировать — значит схватывать «неуловимое уходящее», как сказал Гёте, — проговорил Маэстро, передавая мне все новые и новые фотографии. И надо отдать должное — фотографии были великолепные, как бы сказал сам Маэстро, «на уровне мирового стандарта».

Я не заметил, что предшествовало смене настроений хозяина, но, когда он заговорил о своих работах, я успокоился. Выпроваживать меня не собираются. И в подтверждение этому неожиданно снова меня тему разговора, Упитис предложил:

— Пойдемте послушаем музыку.

Упитис вышел из-за стола, и тут я увидел, что он несет свое большое тело и большие ноги, опираясь на палку, и, естественно понял, что значит работать, как работает он, причем большую часть времени — в саду. Вырастить тысячи сортов плодовых деревьев: привить их, дожидаться плодов, еще раз посеять и еще раз дожидаться плодов, но и это еще не конец... Из коридора снова потянуло сыростью. Я вышел вслед за хозяином, и он сказал, что его собирались направить в Нафталан на лечение — это в Азербайджане, — но он отказался.

— ...Я, как тот крестьянин, хочу умереть на борзде, слушая жаворонка.

Мы вышли в торговую комнату, где три стены были застеклены. Вокруг в ящиках стояли канарские пальмы и верхушки словно поддерживали потолок. Посередине — стереофонический проигрыватель с двумя почти метровыми колонками по сторонам, а на полу длинный ряд пластинок. Я пробежал взглядом по этому ряду: здесь все — от «битлов» до Баха.

Маэстро начал совершать «обряд». Тщательно приготовил свой стул, определил место моего стула — сзади от себя в полутора метрах, сел, положил палку к ногам и повернулся вполоборота ко мне.

— Что будем слушать? — он пристально посмотрел на меня. — Хотите «Когда-то нам сияли звезды», поет Корелла? Или Чайковского «Вальс цветов»?.. Ну хорошо, начнем с «Кантина торерос». Это гимн моего дома... Тореадорская харчевня — место, куда заходит тореадор, если бык не поднял его на рога... Я начинаю день и заканчиваю его этой пластинкой. — Он взял бархоточку, протер пластинку, поставил на диск и поудобнее устроился на стуле, выпрямив спину. Звуки скрипок заполнили оранжевую, вонзались в пальмы, но постепенно смычковая группа ушла на второй план, возникло несколько глубоких аккордов гитары, вступила кастаньета — и в ритме болеро зазвучала гордая музыка. Маэстро увлекся, сжался, глаза горят. Вскинул руки в такт музыке, обернулся ко мне, а сам не здесь, там, в таверне с тореадором... На полную мощь звучат колонки, в одной — оркестр, в другой — гитара и кастаньеты, и это ритмическое объемное звучание, эта музыка, как разряд молнии, как мощный всплеск человеческих настроений... На диск ложится другая пластинка, и звучит меланхолическая грусть Чайковского, на лице Маэстро все оттенки музыки: задумчивость, просветление.

Неожиданно серый дождливый день прорезало солнце, и обдала охрой канарские пальмы, ящики с семенами, седую шевелюру Маэстро.

— Извините, должны приехать рабочие...

Подождала паузочка, Упитис объяснил рабочим, что делать, а сам все в том же пиджачке, с шарфом на шее и открытой головой уехал за почтой. Я вышел, покурил и вернулся в хаос бандеролей, книг, ящиков и семян... Боч отлично подготовил меня к встрече. Я все узнавал и принимал все необычности этого дома. Конечно же, неясное оставалось неясным, но во всем угадывалась логика, даже в том, что в доме не было ни единого гвоздя, на который можно было бы повесить гостю верхнюю одежду...

Вернувшись, Упитис начал просматривать почту. Я вспомнил, как Боч сказал, что по почте Маэстро трудно судить о его профессии, — он выписывает 65 журналов на всех языках цивилизованного мира... Он вскрывал конверт, прочитывал, протягивал мне.

— От моего друга Сучкова из Алма-Аты, — сказал Маэстро и вынул из конверта маленький пакетик, глянул его на свет. — Это семена среднеазиатской алычи... Надо ему послать свои последние лилии...

Иногда, передавая мне очередную корреспонденцию на английском или французском языке, он тут же коротко излагал суть написанного.

— О!.. Канада заинтересовалась моей айвой... А это пишет Берзинь, наш латыш. Он защитил кандидатскую на тему «Упитис».

Маэстро так произнес свое имя Упитис, словно речь шла не о нем, не о конкретном человеке, а о понятии, которое включает в себя науку, методы работы, результаты... Он передавал конверты, и обратные адреса говорили о широкой известности Маэстро. Ему писали из прибалтийских, кавказских, среднеазиатских республик, Белоруссии, северных областей России, с Украины, из Англии, Франции, Канады, Америки, Финляндии, Швеции...

У этого человека есть все: ученая степень, государственная премия, орден Ленина, есть земля и самое главное —

щедрость, с которой он отдает все, что выращивает в своем саду. Петерис Упитис — заведующий селекционной лабораторией плодоводства Научно-исследовательского института земледелия Латвии, и его лаборатория — это весь его дом и семнадцать гектаров сада...

Время от времени Маэстро рассылает пригласительные билеты по всей Латвии, и в Риге выпускается афиша, где сказано, что Упитис устраивает показ своих диалогитивов. Я был не прочь увидеть хоть несколько из них, но, когда Маэстро предложил пройти с ним на второй этаж, я растерялся. Зная основательность Упитиса, я понял, что дело не ограничится несколькими снимками. Мы поднялись на второй этаж, прошли мимо комнат с табличками на дверях: «Биологическая лаборатория», «Фотолаборатория» и, наконец, вошли в помещение, которое скорее напоминало зал кинотеатра, чем комнату. Одна стена была полностью занята экраном. Едва он собрался опустить черные шторы, как сквозь серый дождливый день снова пробилось солнце и остановилось на зеленых росточках, только что проклюнувшихся из земли в ящиках на окне.

— Я не могу лишить их солнца, — сказал Маэстро и отошел от штор. — Это лилии из Южной Африки, — пояснил он и пригласил в соседнюю комнату, где все в тех же ящиках из-под фруктов хранились слайды. Он начал доставать коробку за коробкой и показывать их просто на свет. На пленке были австралийские и индийские лилии, сирень, кавказские абрикосы, нухинские яблоки, орехи Нагорного Карабаха, алыча из Средней Азии, — в общем, все, что он переселил в свой сад, акклиматизировал, выростил... От красок рябило в глазах, и я уже не мог отличить золотую смородину от северного ореха. Цветы и плоды имели не только свои номера, но и имена. Например, сирень «Письмо Сольвейг» или «Мечтатель из Добеле», «Мать Эд Упитис»... Краски сливаются, словно смотришь абстрактные полотна, различая не предметы, а лишь цвет...

Уже вечерело, когда мы снова зашли в оранжевую послушать «тореадорскую харчевню». Я слушал стоя, все так же в плаще, понимая, что больше уже ничего не будет, а когда вернулся в кабинет, поблагодарил Маэстро за этот день, но он воспринял мои слова с иронией:

— Обычно друзья говорят, что от меня невозможно уйти живым... Они устают, — и вдруг предложил: — Присядем еще ненадолго.

Он достал большую тетрадь, записал в нее мой адрес, причем в этом был тоже стиль этого дома, его ритуал, затем протянул мне фотографию сирени и деликатно сказал: — Если нравится, оставьте себе.

Я снова вспомнил о том, что Упитис не подпускает к себе людей, не подпускает, потому что не в силах отдавать половинчато. Он хочет, чтобы принимали все, но людям это не всегда свойственно, их устраивает малость, часть, от большой щедрости они чувствуют большую усталость. Думаю, что день, который Маэстро позволил себе провести в праздничных беседах со мной, — день для него особый, а мне просто повезло, и вот почему. Он все время в работе, в поиске, ему некогда останавливаться, он торопится завершить свой труд, но, едва окончив, понимает, что это лишь малая часть. И однажды наступает момент, когда он непременно должен остановиться, чтобы увидеть дело рук своих, своего таланта, чтобы побывать в этом Прекрасном, почувствовать в нем самого себя и поделить этим. Быть может, сегодня был именно такой день?

Уже на шоссе я понял, почему Боч так хотел увидеть своего друга. Я понял это по себе. Упитис заражает такой жизненной энергией, таким зарядом, что его хватает на долгое время. Без таких, как он, без встреч с ними трудно и одиноко жить...

Я торопился к поезду, в лицо хлестал дождь. Я набросился на залежавшийся в портфеле бутерброд, закурил и поймал себя на том, что тороплюсь, тороплюсь в Ригу. Раймонд Боч ждет моего звонка.



Три дня и три ночи в августе

Николай Петрович Чикер проснулся раньше своих попутчиков и, чтобы не будить их, вышел из купе, потихоньку задвинув дверь. Светало. По вагону бродили зыбкие сквозняки, покачивали занавески на окнах. Одну из тряпочек он намотал на перекладинку, сдвинул в сторону — чтобы не мешала глядеть. Подышал на стекло — стекло запотело. Да, вот и кончилось лето, утро прямо осеннее. Последние дни августа...

Покрикивая гулко, как в туннеле, поезд лесным коридором шел к Москве. Там их вагон перегонят на Курский вокзал, подцепят к южному составу, и через сутки с небольшим — знакомый светлый город, Черное море, служба. Ленинградские приятели часто подшучивали: «Из отпуска — да на юг! Сплошной курорт получается, а не служба...»

Точно паровозный пар, утренний туман сползал с пригорков, с полян и исчезал в рощах, кое-где тронутых желтизной и багрянцем. На одной из просек, затянутой прозрачной синей дымкой, шел одинокий грибок. Он брел, словно странник, с плетеной корзиной через плечо и с палочкой-попсошком. И Чикер вдруг остро позавидовал ему: так было бы хорошо, скинув форменный китель и натянув какой-нибудь затрапезный ватник, двинуться по росным травянистым тропам в лесные дали, навстречу утренней свежести и птичьему гомону... Но все это теперь в лучшем случае откладывалось до следующего года.

Лес за окном стал редеть, а потом и вовсе исчез. Потянулись заросли тальника, и за ними открылось широкое белесое пространство.

— Московское море... — Рядом с Николаем Петровичем стоял проводник и, с неодобрением поглядывая на пассажира, распутывал занавесочку. — Московское море, — еще раз пояснил он, — а рыбы, говорят, с гулькин нос.

Из моря местами торчали травяные кусты. У недалекого островка, точно врезанная в стеклянную гладь, стояла черная плоскодонка с рыбаком. На берегу горел костер, и кто-то там возился у огня — должно быть, приятели того, с лодки. «На уху, наверное, надергали», — решил Чикер. И попытался вспомнить, когда он сам вот так сидел у костра, где висел бы над пламенем закопченный котелок с ухой, а дрова потрескивали и стреляли в небо снопами летучих искр. Разве что на Каспии?

...Под своды Ленинградского вокзала поезд втягивался осторожно, так что встречающие успевали найти за стеклами вагонов своих родных и знакомых, и потом спешили вслед все еще ползущему составу, расталкивая встречный поток. В веселой суতোлке на перроне бросились в глаза двое флотских. В отличие от остальных, они, казалось, никуда не спешили и лишь усиленно вертели голову, точно удивляясь и не понимая вокзальной су-

матохи. На мгновение Чикеру показалось, что он уже где-то видел этих двоих. Но вагон проплыл мимо, так и не дав рассмотреть их как следует.

Они появились сами — буквально ворвались в купе, и Николай Петрович даже охнул про себя от удивления — как мог их не признать на перроне! Виктор Иванович Субботин и инженер Балакирев — старые товарищи! Он еще не оправился от неожиданности — что это вдруг пришло им в голову перехватывать его вот так, на транзите, — а Субботин уже стаскивал сверху его чемодан, торопил: «Николай Петрович, быстренько, быстренько... Это все вещи? Ну пошли. Надо в Крым попасть поскорее». И он еле заметно повел глазами в сторону пассажиров, почти равнодушно повел так. Но этого было достаточно. Ни о чем не спрашивая, Чикер вышел из вагона вслед за Балакиревым и Субботиным. Отпуск кончился, и, по-видимому, сейчас начиналась служба.

Машина неслась по Садовому кольцу. «...Вот такие дела, — кончил свой короткий невеселый рассказ Субботин. — Вот такие дела», — добавил он и снова повернулся вперед, навстречу набегавшей дороге. Теперь Николай Петрович знал главное, из-за чего так второпях прервалось его железнодорожное путешествие. На флоте произошел редчайший случай: в результате аварии оказалась на грунте одна из подводных лодок.

Всех подробностей не знал и Субботин. Ему было приказано во что бы то ни стало найти Чикера. Он его нашел, и теперь им вместе с Балакиревым предстояло лететь в Крым, а потом идти дальше, в район аварии, чтобы участвовать в спасательных работах.

Самолет ждал их и без задержки поднял в воздух. На высоте началась болтанка. Это была не та качка, к которой можно привыкнуть за долгие годы службы на флоте. Самолет то жестоко трепало, то начинало мягко, тошнотворно банюкать. Настроение портило еще и вынужденное безделье, чего уж Николай Петрович выносить физически не мог. Будь у него в руках хоть какие-нибудь маломальски стоящие детали аварии, он попытался, пусть приблизительно, проанализировать их, продумать ориентировочный план работ, что потом наверняка бы ему же и помогло. Такое бывало не раз. Сейчас же он был лишен всего этого. Оставалось глядеть в иллюминатор да попытаться отвлечься от воздушных испытаний.

...Он вспомнил костер на берегу Московского моря и рыбаков у огня. Неужели он сам вот так же сидел у котла с дымной ухой в последний раз на Каспии? Ну конечно, на Каспии... Тогда еще пришлось поднимать со дна «Дело» — плавучую батарею.

Небольшой отряд эпроновцев работал в пустынном районе у восточных берегов Каспия. Старень-

кий водолазный бот да палатка в песках на берегу — вот и все их хозяйство. Поблизости на мелководье были затоплены некоторые из судов флотилии. И среди них — плавучая батарея «Дело». Наверное, ее бы так и бросили догнивать на дне, но «Дело» было переполнено боеприпасами, и на палубе сохранилось несколько шестидюймовых орудий. Боеприпасы, конечно, главное. Вот эпроновцам и дали приказ — поднять «Дело» и вывезти вместе с боеприпасами.

Чикер вспомнил потемневшие, скользкие снаряды, тупоносые и тяжелые, точно чугунные чушки. Они были набиты взрывчаткой, и никто из эпроновцев не знал, как поведут себя взрыватели, когда эти чушки придется ворочать. А в общем-то, работа получалась довольно простая, если бы не постоянная жажда.

Воду от случая к случаю доставляли отряду редкие пароходики из Астрахани. Когда становилось невмоготу, воду добывали сами. Из песка, как казахи-кочевники, рыли на отлогом берегу лунки метрах в двухстах от моря и дожидались, пока они не наполнятся мутноватой, кое-как отфильтрованной водицей. На вкус она была отвратительна, но пить все-таки можно.

Зато рыбы было вдосталь. Работая на палубе «Дела», в небольшие передышки можно было в момент обеспечить всю команду снетью. Для этого приходилось захватывать с собой вилку. Огромные любопытные судаки подплывали и тыкались удивленными мордами в иллюминаторы шлема. Оставалось лишь подцепить одну-две рыбины и отправить их наверх. И вечером у палатки палили костер из плавника, черпали кружками наваристую уху и запивали ее солонватым чаем. Прохладными ночами на время забывались тяготы пустынного существования.

«Дело» они подняли благополучно... И вообще, тот далекий 1936 год был для него, инженера-эпроновца, годом удач. А может, он просто был молод, когда легко и без следа забываются все неприятности...

В салон самолета вышел штурман, сочувственно оглядел пассажиров: «Здорово качает? Еще полчасика поболтаемся...» Николай Петрович выглянул в иллюминатор — внизу плыли квадраты полей, рыжие, желтые, темно-зеленые. Море еще и не проглядывало на горизонте. «Сколько же лодка лежит под водой? Сутки? Или больше?»

...Нет, все-таки тот далекий год, год начала службы, был для него счастливым. Защита диплома в Ленинградском кораблестроительном. Зачисление в ЭПРОН. Назначение в Каспийскую экспедицию. Тогда в ЭПРОНе специалистов с высшим образованием можно было по пальцам перечесть, и он мог бы выбрать место и повеселее, чем Каспий. Но поехал все же в Баку. И оказался на все море одним-единственным инженером-спасателем, получив должданную самостоятельность. Он знал, что Каспий достаточно коварен, и аварии с гражданскими судами здесь не редкость. Но в тот год их было почему-то особенно много. На траверзе Махачкалы затонул в открытом море танкер «Советская Армения». Транспорт «Пушкин», который шел из Ирана в СССР с грузом риса, был таранен пассажирским пароходом «Коллонтай» и тоже пошел на дно. А потом катастрофа у буровиков из треста «Азнефтеразведка»...

«Советскую Армению» пришлось поднимать с глубины сорока метров, используя комбинацию стальных и мягких понтонов. Это была его первая большая самостоятельная работа. Даже слишком самостоятельная. Оказавшись одним-единственным

инженером-эпроновцем на целом море, он был вынужден и возглавлять все работы, командовать спасателями, составлять технический проект подъема с многочисленными и скрупулезными расчетами, участвовать в деле и как водолазный специалист, и даже как врач-физиолог. Приданный ему фельдшер мог только догадываться, насколько серьезна эта вещь — медицина при подводных работах.

Одним словом, на Каспии он был «един, но в трех лицах». Правда, случалось, что и теория, и собственный опыт были недостаточны, чтобы сразу подсказать быстрое и правильное решение. Откуда, к примеру, он, кораблестроитель, мог знать, как и насколько разбухает рис? Скорее, это относилось к поварскому искусству, а не к ЭПРОНу. Но авария с транспортом «Пушкин» кое-чему научила.

Чикер спустился в теплую зеленоватую воду у борта затонувшего транспорта. Пробоина зияла в районе машинного отделения. Работа предстояла довольно обычной: под водой разгрузить транспорт, чтобы максимально облегчить его. Завести понтоны. Поднять судно и отбуксировать в Баку. Инженер сел за расчеты, и перед глазами вновь всплыла картина — его триумфальное появление в Бакинском порту на недавно поднятом танкере «Советская Армения». Статьи и фотографии в газетах. Благодарность командующего флотилией... «Пушкин» должен был стать следующим пунктом в биографии ЭПРОНа на Каспии.

Но водолазы тщетно пытались разгрузить трюмы «Пушкина». Разбухший в мешках рис превратился под водой в сплошной монолит, хоть руби его отбойным молотком! Вот так штука... С такими вещами эпроновцам еще не приходилось сталкиваться. Это уже потом узнали, как страшно может вести себя под водой разбухающий груз. На потерпевшем аварии транспорте «Харьков» горюх, точно бумагу, разорвал массивные стальные переборки.

В конце концов «Пушкин» разгрузили. Но чего это стоило! Сам подъем после этого мог показаться детской забавой. Эпроновцы, меняя друг друга, метр за метром разрыхляли груз-монолит. А потом пришлось использовать грунтосос и с его помощью отсасывать из трюмов рисовую кашу...

...— Море, — негромко сказал инженер Балакирев. — Вон-вон, левее.

Самолет над морем стало болтать еще сильнее. Николай Петрович откинулся в кресле: не хватало еще, чтобы его укачало на последних минутах. То-то разговоров будет потом у летчиков! Но прежде чем лечь в кресло и закрыть глаза, и он, и Балакирев успели заметить главное — море штормило, а это, знали по собственному опыту, могло свести на нет любые усилия спасателей.

— Послушай-ка, — повернулся Чикер к соседу, — сколько людей на подводной лодке, не сообразили?..

До места аварии было далековато, и им выделили торпедный катер. При крепком ветре и крутой волне его швыряло как скорлупку, но сейчас было не до удобств. Катер шел полным ходом, временами вылетая над волной и тут же жестко ударяясь днищем о пенную воду, как о булыжник. Корпус его вибрировал и сотрясался от бешеной мощи двигателей.

Катер зарылся носом в волну, и по стеклу рубки снизу вверх взметнулись потоки воды...

На горизонте показались несколько кораблей, и

среди них выделялся силуэт спасательного судна. Рядом стояла буксиры и два эсминца. Так вот, значит, где все приключилось.

К спасателю подошли осторожно, с подветренного борта. Ни о каком штормтрапе в такую погоду думать не приходилось, и, улучив момент, когда катер подлетел особенно высоко, Николай Петрович что есть мочи оттолкнулся и повис на фальшборте спасателя. Палуба катера в ту же секунду провалилась в бездну, но матросы сверху, перехватив Чикера, буквально выбросили его на палубу, подальше от борта. Они с некоторым недоумением рассматривали его — в белой рубашке, с галстуком, с ослепительным чехлом на фуражке, он выглядел слишком щеголевато в окружении замасленных роб. Впрочем, может, так и должен выглядеть настоящий руководитель спасательных работ?

Не заходя на корму, где как раз уходила под воду очередная пара водолазов, он прошел в штурманскую рубку. Здесь был оборудован пункт управления спасательными работами. Вызвал к себе офицеров, врачей, химиков, нескольких водолазов, которые уже не раз побывали на грунте. Выслушал их короткие донесения.

Да, ему еще не приходилось иметь дело с такой необычной ситуацией...

При срочном погружении не сработала газовая захлопка, и вода рванулась в лодку сокрушительной струей. Два отсека оказались частично затоплены. Аварийное продувание цистерн главного балласта не помогло. Получив дифферент на корму, лодка стремительно провалилась на большую глубину и врезалась в грунт. Около десяти метров ее кормовой части оказалось заклинено в илистом грунте. Аварийно-сигнальный буй, который выпустили подводники, из-за необычного положения лодки всплыл не сразу, и это еще больше осложнило и затянуло поиск подводной лодки. Но около восьми часов вечера, в сумерках и при шторме спасатели разглядели прыгающий в волнах красно-белый буй. («Восемь вечера, — отметил Чикер, — Ну да, в восемь вечера...») На Московском вокзале он к тому времени забрал заказанный билет и не торопясь шел по Невскому среди фланирующих по проспекту спокойных и веселых людей.)

Буй подняли на борт спасателя и связались с командиром лодки. И, что самое главное, экипаж подлодки отделался при аварии лишь ссадинами да синяками — все были живы...

Но благополучие это было временным. Все отлично понимали, что запасы воздуха и средств регенерации на подводной лодке не безграничны и необходимо принимать экстренные меры.

«Сколько потеряно времени! — прикинул про себя Чикер. — Самолеты, катера, пересадки. Нет бы догадаться вернуться из отпуска раньше». Он был почти спокоен и немного зол. Разговаривали какие-то малознакомые офицеры, которые набилась в штурманскую рубку, где и так-то было не повернуться. И хоть бы стояли молча! Так нет, у каждого из них был свой проект спасения.

Вежливо, но решительно Чикер выпроводил всех лишних из рубки. «Никольского надо вызвать, — решил он. — И Друкера, обязательно Друкера...»

— На базу радиограмму. Срочно вызвать на спасателя капитана второго ранга Никольского и инженера Друкера. Срочно!

Отыскал взглядом командира спасательного судна.

— Как на лодке? Экипаж? Средства регенерации?

Командир доложил:

— Только что оборвался кабель-трос аварийно-сигнального буйа. Телефонная связь с лодкой потеряна. Водолазы ведут поиск подводной лодки.

Буй сиротливо лежал на кормовой палубе рядом с водолазным спуско-подъемным устройством. Конец кабеля в месте обрыва напоминал кисточку для клея.

В глубоководном снаряжении готовились к спуску два водолаза — снова, в который раз за последние сутки, искать лодку. Водолазы качались на своих спусковых платформах, как в люльках, и исчезали в рваных волнах. Казалось, ветер гнал водяные холмы прямо по воздуху.

Спасатель заметно возило — не помогали ни собственные якоря, ни тросы, заведенные с двух эсминцев сюда, на корму, чтобы попытаться удерживать спасателя на месте. При такой болтанке и рысканье, когда водолазы дергались под водой, как марионетки от рывков, да еще при нулевой видимости и сильном течении — нет, тут найти лодку можно было только случайно, нагнущись на нее в буквальном смысле.

— Командир! Надо передать радисту, чтобы доставили с базы четыре рейдовые бочки. — Чикер оглядел акваторию и прикинул, где лучше будет разместить тяжелое рейдовое оборудование. С бочками будет надежнее. Подал на них концы, спасатель встанет как вкопанный.

Он вернулся в рубку, принялся еще раз просматривать последний расчет запасов лодочного воздуха. Только что же тут смотреть. Теперь количество воздуха, пригодного для существования подводников, будет все время уменьшаться и уменьшаться. Действовал неумолимый закон: каждый кубометр воздуха при нормальном давлении обеспечивал возможность существования одного человека в течение трех часов. Чикер знал и количество кубометров, и численность экипажа, и сколько этих кубометров практически уже не было. Конечно, оставались еще средства регенерации. Но лодка возвращалась на базу после выполнения задания по боевой подготовке, и, значит, запасы средств регенерации тоже были почти исчерпаны...

Резко, сразу, по-южному над морем пала ночь. В рубке вспыхнуло искусственное освещение. Проверив, как действуют боевые посты, инженер снова сел за штурманский стол. Здесь, на пункте управления спасательными работами, было сосредоточено множество боевых постов, и на каждом дежурил специалист — офицер, старшина или матрос. Неслышно вращались диски магнитофонов, фиксируя все переговоры — с водолазами, командирами кораблей обеспечения, с базой. Изредка гудели зуммеры телефонов. У водолазного щита бессменно дежурил лейтенант Чертан, командир спуска водолазов, сын известного на весь Черноморский флот Чертана-старшего, одного из первых военных глубоководников. В свои годы сын успел кое в чем обогнать даже и отца, и, пожалуй, не было лучшей кандидатуры для водолазного специалиста спасательного судна.

Спасательное судно... Оно еще называлось спасателем подводных лодок. И вот оно прибыло сюда по своему прямому назначению, а впереди между тем полная неизвестность. Кто поручится, кто предскажет, чем все же закончится эта эпопея — здесь и под водой. «Спасение — в решительных и экстренных мерах». Но сейчас, после предварительного анализа истинного положения дел, эти слова показались такими изжеванными и пустыми!

Вот на Каспии — это да! Там можно было пускаться в ход решительные и, конечно, экстренные

меры. Хоть бы тот же случай с буровой вышкой... Тогда трестовские инженеры из Азнефтеразведки на свой страх и риск взяли и поставили одну из буровых прямо в море. Это была сенсация.

Однако первым же штормом и людей, и оборудование смхнуло в море без следа. Но трест от затае не отказался, только стал осторожнее. Пригласил для консультации и конструирования новых морских вышек молодого эпроновца Чикера. Вместе с группой инженеров треста были спроектированы две вышки, которые должны были встать на специальных основаниях и соединяться одной площадкой. Собирали, монтировали вышки на берегу, а потом пришли время сочленять их в море, с помощью мягких понтонов. Причем сочленять предполагалось с точностью до миллиметров. И вот в самый ответственный момент (о как он врезался в память!) возникает аварийная ситуация. Один из понтонов начинает эдак быстро самопроизвольно поддуваться. И все больше, и больше, а вышка угрожающе кренится. А внизу-то двенадцать метров воды. Надо воздух стравить моментально. А как и чем? И тут Чикер вспоминает — пистолет! Вот же он, на боку. Всю обойму пришлось всадить в понтон... Сейчас бы придумать что-нибудь такое, вроде того пистолета: раз — и готово, и лодка, и экипаж целы-целехоньки!

...Никольский, Друкер и еще несколько специалистов-подводников прибыли на спасатель так быстро, словно дожидались вызова на пирсе. Им не пришлось долго растолковывать, кто и чем будет заниматься, — на такие случаи каждый знал свою роль и место.

Скоро недалеке от спасателя установили две рейдовые бочки. Подав на них концы, судно перестало рыскать, и водолазы — от них сейчас зависело почти все — могли работать более спокойно и точно. Хотя сказать «могли работать» — значило ничего не сказать. Рейдовые бочки стабилизировали положение спасателя. Но они не убавили ни ветра, ни штормовой волны, ни скорости подводных течений. И видимость под водой по-прежнему была нулевая. В отношении таких условий Правила водолазной службы были весьма категоричны: работать под водой запрещено...

В тяжелом снаряжении, в зимних рубашках с перчатками, прихватив лампы-переноски, водолазы один за другим шли под воду, и вслед им, как направляющий колодец, спускался тугой луч кормового прожектора.

В рубке, у штурманского стола было тесно. Инженерный боевой пост приступил к работе, к той работе, которая, выражаясь сухим языком справочников, именовалась: планирование и проектирование аварийно-спасательных работ в соответствии с обоснованным техническим решением. Чикер оглядел собравшихся — какие будут предположения? У них было еще несколько минут в запасе, чтобы позволить такую роскошь — обсуждение, тем более что вариантов спасения экипажей с затонувших подводных лодок было не так уж и много.

Первый — с помощью спасательного колокола. Если бы лодка имела комингс-площадку для установки колокола... Если бы она лежала на грунте с небольшим креном и дифферентом... Да, это был бы подходящий случай, чтобы применить колокол. Устанавливай его на площадку и партиями поднимай подводников на поверхность. Если бы, если бы... Сейчас все это исключалось, — попробуй поставь колокол при таком дифференте. Тут и водолаз не удержится на корпусе.

Есть еще вариант — выход экипажа самостоятельно. Поодиночке, в автономном снаряжении. Но опять: как стоит лодка? При таком положении выход людей крайне сложен.

Остается одно — подъем лодки с экипажем. Ничего другого не придумаешь.

— Значит, будем поднимать... — Чикер отложил в сторону карандаш так, как будто самое главное было уже позади, самое главное сделано. На листке бумаги были видны контуры увязшей лодки и возле нее чертик-водолаз.

Они все еще стояли у стола, теперь уже молча, каждый про себя прикидывая и считая, что же потребуется предпринимать в первую очередь, когда от водолазного щита неожиданно громко доложил Чертан:

— Обнаружен кабель-трос аварийно-сигнального буга.

По счастью, вода не проникла по жилам кабеля. Разорванные концы срастали, и вскоре Чикер разговаривал по телефону с командиром подводной лодки.

Когда он вернулся в штурманскую рубку, Друкер, расположившись за столом по-хозяйски, что-то уже высчитывал. Предупредительно сдвинулся к краю стола, уступая середину товарищу.

— Говорил с командиром?

— Говорил. Сказал, чтобы ждали. И чтобы воздух экономили. Только это он лучше меня знает. Я говорю, как лучше вдох и выдох тянуть, а они, оказывается, еще лодочным воздухом живут. И средства регенерации еще не трогали. А сам дышит — ты бы слышал! Лодку надо вентилировать.

— Само собой. Кислородом? — И Друкер потянул к себе новый листок. — Пойду к химикам.

То, что экипаж лодки не использовал оставшиеся средства регенерации, было вполне хладнокровным и профессиональным расчетом — всемерно экономить воздух. И особенно теперь, когда никто не мог сказать, сколько времени может продлиться работа спасателей.

Командира можно было понять. Он прекрасно отдавал себе отчет, в каком положении оказались лодка и экипаж, заточенные на такой глубине. И, наверное, давно подсчитал все шансы. Но экипаж подводной лодки держался отлично. Между тем обстановка в лодке была не из приятных. Работало только аварийное освещение. Передвигаться по отсекам можно было, лишь подтягиваясь на руках, цепляясь за трубопроводы и прочие выступающие предметы. В конце разговора командир передал одну-единственную просьбу: «Прошу форсировать спасательные работы. Опасаюсь, что запасов воздуха надолго не хватит».

На кормовой палубе матросы раскручивали вьюшки со шлангами для вентиляции. Уходили под воду водолазы, и то, что они сейчас делали там, далеко внизу, опрокидывало все медицинские нормы. Вместо нормы пребывания на такой глубине, определенной в 20—30 минут, водолазы работали по полтора и более часов, стараясь перегнать время.

Чикер, посоветовавшись с Никольским и Друкером, решил: лодку надо попытаться выдернуть из грунта с помощью буксиров. Сразу после этого капитан второго ранга исчез из рубки, оставив инженеров одних. «На корму, конечно, побежал, к водолазам, — догадался Чикер. Вопросительно поглядел на своего друга: — Ну что, начали?»

Теперь, не мешкая, им предстояло все, что было возможно, перевести на язык цифр. Теперь они

были в своей стихии. Теперь от них зависело, насколько четко и безошибочно будет спланировано и размечено действие огромного количества людей и механизмов.

Главное — наладить вентиляцию лодки. Затем снабдить затонувшее судно запасами сжатого воздуха, а экипаж — горячей пищей, теплой одеждой. Параллельно продумать, рассчитать и провести основную операцию спасения — буксировку. И конечно, отметить положение носа лодки бум, чтобы облегчить водолазам путь к подводной лодке.

Это было сделано достаточно быстро: матрос-водолаз Герасюта, с трудом удерживаясь на корпусе лодки, закрепил буйреп носового буя. Можно было заводить шланги для вентиляции. Но тут вмешалась стихия. Лопнул швартовый конец.

Чикер выскочил наверх. Зажмурился — свет и ветер резали глаза. И в следующее мгновение увидел все. Корму спасателя уводило в сторону. Буй, который установил Герасюта, прыгал и исчезал вдаль в бурунах. Капроновый швартов, связывающий спасателя с одной из рейдовых бочек, не выдержал. Свирепый нордовый ветер завывал в вантах, отжимал судно прочь. Инженер прикинул — теперь часа на три хватит повозиться. Если не больше. Надо завести концы на бочку, поставить дублирующие швартовы и обтянуть их так, чтобы встать точно над подводной лодкой. «Сколько работы пошло насмарку!..» Он ринулся вниз, туда, где бились на ветру матросские воротники, где десятка три человек хлопотали над бухтами новеньких тросов, и где уже успел рассмотреть знакомую фигуру Никольского...

Через два с половиной часа спасатель встал на место. Чикер вернулся в тишину и уют штурманской рубки. Руки саднило, а костюм... Теперь бы соседи по купе не узнали его. Все было одного цвета — цвета мазута. Нервное напряжение немного спало, и его клонило в сон. Голова точно деревянная. Стряхнув дремоту, он поглядел на стол, на ворох бумаги: на чем остановились? Потом вспомнил — где Чертан? Когда входил в рубку, его вроде бы не было. Но лейтенант сейчас стоял на своем месте, у водолазного щита. Свеж и подтянут. «Когда он спит и спит ли вообще?.. Ну, лейтенант, теперь дело вновь за твоими ребятами.

По тросу буй Герасюты вниз пошел мичман Каргаев. Простучал отсеки лодки, проверил, как самочувствие водолазов. Пока все более-менее в норме.

Каргаева сменил мичман Ивлев. Со стальным концом в руке он добрался до носовой части лодки, затем спустился, как с горки, в район центрального поста и отвернул заглушки штуцера отсоса воздуха, предварительно закрепив здесь направляющий конец. По этому тросу вниз поползли шланги.

Мичман Кремляков подготовил все для вентиляции лодки, и это все заняло час и сорок три минуты. Как только мичман появился на поверхности, он сразу был отправлен врачами в декомпрессионную камеру, где ему предстояло провести около пятнадцати с половиной часов, чтобы не получить кессонную болезнь. Теперь он мог только наблюдать за работой своих товарищей на палубе через небольшой иллюминатор...

Связь с лодкой восстановили. Вентиляция была налажена. И вскоре снизу пришло подтверждение — дышать в лодке легче. Спасатели тоже

вдохнули с облегчением: появлялся дополнительный запас времени. Однако что-то с вентиляцией творилось неладное. Сначала водолажки, а затем и результаты экспресс-анализов лодочного воздуха показали — в отсеках нарастает давление. А вместе с давлением усугублялось отравляющее действие накопившейся углекислоты. Опять вступал в силу жесткий лимит времени.

Николай Петрович Чикер невидящим взглядом окидывал ворох бумаг. Здесь были десятки самых разнообразных расчетов, которые должны были помочь попавшим в беду водолажкам. И в то же время не было и не могло быть главного — с какой силой держит грунт лодку. Это не поддавалось никакому расчету. И, следовательно, ему и Друкеру можно было лишь гадать, с какой силой тянуть ее из ила. И можно ли вообще вырвать ее из грунта?

Чикер на своем веку поднял со дна морей не один десяток затопленных судов и не раз сталкивался на практике с непонятным, хитрым характером присоса металла судов к глинистым и илистым грунтам. И никогда бы не взялся категорически утверждать, как поведет себя эта загадочная сила в каждом конкретном случае. Ему, старому эпроновцу, хорошо запомнилась история с подъемом эсминца «Керчь»...

«Керчь» была затоплена еще в 1918 году. А решили ее поднимать более десяти лет спустя, когда корпус корабля уже крепко был «прихвачен» вязким грунтом. Эсминец остропили понтонами, подъемная сила которых примерно на пятьдесят процентов превышала вес «Керчи». Продули понтоны — «Керчь» на месте. Проверили расчеты еще раз — все верно. Тогда подвели и подали воздух под корпус эсминца, превратив его в своеобразный понтон. А эсминец на дне даже не шелохнется. А ведь к нему уже приложена сила, в два раза превышающая его собственный вес. Пошли обедать. И вдруг на поверхность вылетают большущие пузыри, а за ними... понтоны! Одни понтоны, без «Керчи». Оказалось, корпус не выдержал страшного напряжения и стропы просто разрезали его, как в магазине режут круги сыра, с помощью проволочки...

Но то получилось с кораблем, который нормально лежал на грунте. А тут подлодка ушла в ил более чем на десять метров, и к тому же в грунте были заклинены винт и рули. Так что присос предпологался большой.

Интуиция и опыт подсказывали, что ста тонн, вероятно, будет достаточно, чтобы лодка оторвалась от грунта и всплыла. Но, кроме присоса, в предстоящей буксировке была еще одна загвоздка — какой взять трос? Из-за малой остойчивости подводной лодки тяжелый стальной трос мог ее перевернуть, а это, в свою очередь, означало бы почти верную смерть экипажа. На такой риск даже в нынешних условиях идти было нельзя, пока есть какой-то шанс и время переменить техническое решение.

Посоветовались с Друкером. Выбрали капроновый трос. В воде он ничего не весил и, значит, для лодки не представлял опасности. Правда, его физико-механические свойства были известны недостаточно, да и толщина доставленного троса вызвала опасения. Но другого не было, а медлить было нельзя.

За носовой рым подводной лодки закрепили «бублик» — петлю из стального троса, а уж за «бублик» водолазы завели капроновый буксирный трос.

Спуски водолазов шли непрерывно. Декомпрес-

сионные камеры были переполнены. Поднятых на поверхность водолазов частично приходилось отправлять в камеры другого спасателя. Некоторым приходилось проходить декомпрессию прямо в воде, постепенно, в соответствии со строгими графиками, поднимаясь с положенными остановками в морской толще.

С большим трудом водолазы завели на подводную лодку медный трубопровод для подачи воздуха высокого давления. Эта операция отняла много времени и сил. Пошли третьи сутки, как лодка оказалась на дне... Подводников надо было поддерживать.

Через торпедный аппарат № 1 водолазы передали внутрь лодки двенадцать резиновых мешков — теплое белье, спирт, горячее какао, десять индивидуальных спасательных аппаратов. Затем — еще несколько контейнеров: средства регенерации воздуха, горячую пищу.

Установили еще две рейдовые бочки, и спасатель надежно встал над лодкой на «четыре точки». По медному трубопроводу все лодочные группы баллонов воздуха высокого давления набили сжатым воздухом, продули цистерны главного балласта. Экипаж лодки насосами частично откачал за борт воду из затопленных отсеков. Теперь лодка была подготовлена к буксировке.

По телефону Чикер предупредил командира подводной лодки: внимательно наблюдать за ее малейшими движениями, обо всем немедленно докладывать наверх.

Спасатель оттянулся в сторону, с тем чтобы всплывающая лодка не ударила в его днище. Буксиры приняли конец.

Над лодкой в море остался лишь небольшой баркас, на котором закрепили все концы, шедшие к лодке, — шланги, трубопроводы, телефонный кабель... С баркаса шло все управление — отсюда Чикер держал связь по радио с буксирами, а по телефону — с командиром подводной лодки.

Погода немного улучшилась, но ветер все же был около пяти-шести баллов, и баркас мотало изрядно. В последний раз Николай Петрович и радист проверили, как действует связь с лодкой, и по радио — с головным буксиром. Можно было начинать.

Буксиры медленно выбрали слабину и начали по команде с баркаса постепенно наращивать тягу. До них было около 200 метров, и Чикер ясно видел, как растут за их кормами белые буруны. Инженер повернулся к радисту:

— Буксирам прибавить обороты. Помалу, помалу...

Оставалось только ждать.

Три серо-стальные глыбы буксиров стояли на месте, точно припаянные. Значит, трос еще держит. Ждать, ждать...

Ждать — ничего хуже не было для Чикера. Он не научился этому за свою долгую службу, хотя и понимал, что иногда в этом единственный выход. Он привык действовать. Действовать даже и в том случае, когда здравый рассудок подсказывал, что вроде бы пора уже махнуть рукой и отправляться восвояси. Вспомнился 1939 год.

Теплоход «Челюскинец» шел из Нью-Йорка в Ленинград с грузом металла и станками для новых заводов СССР. Ему не повезло еще в Бискайском заливе, когда груз в носовой части сорвался во время шторма со своих мест и стал перекачиваться по трюму. А в мартовскую ночь 1939 года теплоход выскочил на банку Таллино-Модал в районе таллинского рейда. Усилившийся шторм разломил судно на две части...

На помощь «Челюскинцу» из Ленинграда вышли два ледокола. Чикер был назначен руководителем спасательных работ, начальником экспедиции.

Караван пробивался через льды Финского залива. Лед метровой толщины приходилось таранить с разгона. Весна еще будто и не началась — над судами по ночам полыхали северные сияния. Через два дня спасатели вышли наконец на чистую воду и прибыли в район аварии. Это была незабываемая картина.

Носовая часть теплохода осталась на банке Таллино-Модал. А корма сдрейфовала под ветром и штормовой волной к западу и теперь сидела в пяти милях на банке Уусмадалик. Команда была снята с «Челюскинца». Покинутые обе части судна торчали из воды. Возле носа теплохода станки валялись россыпью на отмели. Надо было спасать и судно, и груз.

Вот тогда впервые Чикер и встретился с агентом

КОГДА ИСЧЕЗАЕТ «МАГНИТНЫЙ ЩИТ»...

За время существования биосферы в ней не раз происходили внезапные и непонятные катастрофы. Так, 500 и 250 миллионов лет назад сразу — в геологическом смысле этого слова — вымерло множество морских организмов. Несколько меньший «мор» ощутило на себе население суши 425, 345, 180 и 80 миллионов лет назад (например, 80 миллионов лет назад исчезли гиганты динозавры).

В последнее время стало известно, что направление земного магнитного поля периодически меняется на противоположное, и в момент изменения его напряжен-

ность снижается до нуля. Представилось заманчивым связать «исчезновение» магнитного поля Земли с биологическими катастрофами: как только исчезнет «магнитный щит» планеты, поверхность подвергается воздействию радиационных потоков, которые до того сдерживались «щитом». Эта радиация губит сразу многие формы жизни.

Однако расчеты, проведенные учеными ряда стран, показали, что исчезновение «магнитного щита» не может усилить космическую радиацию до пределов, опасных для сухопутных, тем более морских организмов. Таким образом, гипотеза была поставлена под сомнение.

Недавно, однако, нашлись но-

вые веские доводы в ее пользу. Дело не в радиации, которая якобы опасно возрастает в момент исчезновения «магнитного щита», — дело в самом «щите». Если поместить некоторые бактерии в условия пониженной магнитной интенсивности, то их численность сокращается в 15 раз. Простейшие одноклеточные, плоские черви, моллюски, равно как и птицы, резко замедляют свои движения; мыши при длительном пребывании в «немагнитной среде» быстрее умирают, не дают потомства. И так далее. Поэтому можно предположить, что временное ослабление и исчезновение магнитного поля Земли действительно могло сильно отозваться на биосфере.

ЗАГАДКИ ПРОЕКТЫ ОТКРЫТИЯ

английского «Ллойда». Тот успокоил — страховка, конечно, будет выплачена, вопросов нет. А теплоход... Ну что же, о теплоходе придется забыть. Спасти его невозможно. Зря тратите время. И он мило улыбнулся, давая понять, что деловая часть закончена. Он, безусловно, был специалистом своего дела и подсчитал все и вся, но предсказания его не оправдались.

«Челюскинец» неделю назад был еще новехоньким судном. Всего три года назад его построили, а теперь он лежал на дне, готовясь в лучшем случае стать металлоломом, в худшем — остаться ржаветь и гнить на банках. А агенту на все это было в высшей мере наплевать. Он улыбался и щелкал аппаратом.

И Чикер спросил у представителя «Ллойда»: не будет ли он любезен прислать эти снимки в СССР? Англичанин обещал. И тогда, чувствуя внутри неприятный холодок бешенства, Чикер сказал улыбаясь: а может быть, вскоре эти снимки пригодятся и самому мистеру, после того, естественно, как спасатели поднимут и отбуксируют в Ленинград «Челюскинец». Англичанин рассмеялся совсем весело и искренне, забыв даже на время, что страховку платить все равно придется.

Кормовую часть теплохода поднять было проще и легче буксировать — на ней почти в целости осталась переборка, воды в трюме не было. Зато носовая часть представляла жалкое зрелище: значительные повреждения, часть станков выброшена в воду. Они были разбросаны кругом, точно взрывом. Водолазы их стропили. Станки грузили на транспорты. Несколько тысяч тонн станков и листового металла — для этого не спасатели были нужны, а портальные краны. Вес некоторых станков тридцать-сорок тонн!

Как и предполагали, кормовую часть подняли достаточно быстро, и буксир повел этот обрубок теплохода в Ленинград. Зато с остальным пришлось повозиться. Для перехода по морю в носовой части предстояло возвести новую прочную переборку и откачать воду из трюма, иначе нос не держался бы на плаву. И переборку предстояло поставить под водой. А на море непрерывные штормы. Таких работ никто в мире не производил, чтобы под водой ставить переборку площадью более ста квадратных метров.

И англичанин, который почему-то из Таллина не уезжал и регулярно приходил на буксире к «Челюскинцу», так и сказал: пустой номер...

Но спасатели принялись за работу. Когда было готово около половины многослойной деревянной переборки, пошел сильный ветер, волна. От свежего дерева полетели щепки. Было страшно смотреть, когда волна ударяла в переборку — щепки летели вверх на два десятка метров. Спасатели с горечью наблюдали, как в пух и в прах разлетается все, на что ушла уйма тяжелого труда. Когда шторм затих, пришлось начинать все сначала, благо строительным лесом запаслись впрок. И вскоре носовая часть была на плаву и торжественно — так казалось спасателям, — именно торжественно была отбуксирована в Ленинград, где в доке сварщики благополучно завершили работу эпроновцев, сварив ее с кормовой частью. «Челюскинец» готов был снова отправиться в рейс...

Чикер вспомнил фотографии англичанина — хорошие снимки прислал он ему в Ленинград, и часы — подарок наркома Морфлота, большие карманные часы, большие и круглые, как луковица...

Николай Петрович пришел в себя, услышав по телефону голос командира подводной лодки: «Вот

только что вроде потянуло, и дифферент уменьшился вполтину. И все. Дальше?»

Радист смотрел выжидающе.

— Буксирам дать самый полный... — Чикер перегнулся и плеснул в лицо немного соленой воды. Поглядел на часы: неужели дремал?

Рычаги машинных телеграфов на буксирах перевели на «Самый полный вперед»... Трос не выдержал. Он лопнул и выскочил где-то в стороне от баркаса. С подводной лодки сообщили: «Нас что-то толкнуло...» Внизу сразу не догадались, что случилось...

Первое, что пришло в голову сразу за этим, — благодарение, что не сбросили перед буксировкой на грунт все шланги, кабели и трубопроводы. Спасатель подводных лодок подтянулся на старое место и принялся вновь вентилировать отсеки лодки, пополнять запасы сжатого воздуха.

На спасателе срочно готовились заводить новый, теперь уже стальной буксир. При всех сомнениях — перевернет или нет тяжелый трос лодку — оставался этот единственный выход.

Первый водолаз, а за ним и второй, которые ушли вниз крепить к «бублику» буксир, запутались в многочисленных концах, идущих от спасателя к лодке. То ли сказалась страшная усталость изнурительного труда и бессонница, то ли плохая видимость и сильное течение, но они висели теперь где-то на полпути к лодке, и их тоже надо было спасать: время пребывания водолазов на глубине приближалось к критическому, когда лечебная декомпрессия могла не помочь.

Чикер стоял у поручней и глядел в черную воду. Почти трое суток без сна измотали. Постоянное нервное напряжение притупило, казалось, все чувства. Что-то надо было срочно придумать, изобретать, ворошить память...

Он вызвал Никольского. Скуластый, чуть сутуловатый, Павел Николаевич Никольский появился сразу, словно стоял все время за спиной. И Чикер долго смотрел на него изучающе, как будто в первый раз увидел старого своего товарища после долгой разлуки.

— Павел Николаевич, выручайте... — сказал Чикер глуховато. — Надежда только на вас. Выручайте. — Ему показалось, что говорит очень сухо. Как будто и просит, а на самом деле получается вроде приказа.

Он старался не смотреть на скрюченные тяжким водолазным трудом пальцы Никольского с подагрическими распухшими косточками суставов.

Когда он вызывал Никольского на спасатель, то и не помышлял посылать его на глубину, тем более что знал — Никольский болен, и болен серьезно: сильное воспаление вен, распухли ноги. Он вызвал его для советов. Но теперь советы Никольского помочь уже ничем не могли. То, что предстояло сделать под водой, могли сделать только эти скрюченные пальцы, казавшиеся неподвижными и корявыми лишь непосвященным. Эти руки мгновенно справлялись с любой работой: боцманской, плотницкой, а если бы потребовалось подводникам, то, наверное, и с кружевной. Врачи всегда наотрез запрещали Никольскому ходить на большую глубину, а сейчас предстояло идти в обычном трехболтовом снаряжении и работать бог знает как долго. Распутать двух водолазов и еще завести стальной буксир — на это надо время... А времени-то как раз и не было. Вот поэтому Чикер и вызвал Никольского, потому что никто не смог бы сделать эту работу быстрее капитана второго ранга, а может, и просто не сделал бы. И Никольский сказал:

— Готов. Разрешите одеваться?

Он уже уходил, когда Чикер неожиданно оставил его:

— Подожди. Послушаем, что скажут врачи.

И сразу понял, что пытается обмануть самого себя, потому что все уже было предreshено, и даже категорический отказ врачей не изменил бы обоюдного товарищеского решения. Чикер решил дать себе небольшую отсрочку, чуть потянуть время, чтобы прикинуть все до конца — все ли возможности исчерпаны, чтобы послать старого друга на риск отчаянный, оправданный — и все же отчаянный и в чем-то несправедливый. И Никольский, было видно, все понял и догадался. Еще раз повторил:

— Я готов.

Пришли врачи-физиологи. Это тоже люди с пониманием, и будь обстановка на каплю попроще — сидеть бы Никольскому на корме наблюдателем. Но к этому времени все молодые водолазы, работая третьи сутки почти без перерыва и сна (какой сон в декомпрессионной камере!), были на грани физического истощения. Да и будь они совершенно свежими, все равно для предстоящей работы им не хватило бы опыта и мастерства.

Врачи дали «добро». Отправились на корму — обеспечивать спуск и жизнедеятельность Никольского. Капитан второго ранга оделся и ушел вниз. Он пробыв под водой больше часа. Сначала распутал водолазов, быстро, где на ощупь, а где и десятим чутьем разбираясь в хитросплетениях державших их концов, обводя вокруг многочисленных плетей шлангов и кабелей. Где надо подталкивая, а где и ворочая самих водолазов, точно кукол. А затем пошел на подводную лодку, прихватив с собой длинный направляющий трос. Этот конец он пропустил в «бублик», как нитку в игольное ушко, и поднял его на поверхность: очередная малая механизация... К направляющему прикрепили конец толстого стального буксира со скобой и лебедкой потащили его к лодке, как через блок. Никольскому осталось только точно отрегулировать длину подходящего буксирного конца и в нужный момент закрепить на «бублике» тяжелую скобу. Лодка накрепко была соединена с буксирами, и в необычайно короткие сроки. В который уже раз Чикер видел, как выручала неистощимая смекалка Никольского...

Дело шло к полуночи. Буксиры вновь расположились в заранее выверенных точках (сейчас, при тяжелом тросе, точность буксировки значила все!). Опять спасатель оттянулся на безопасное расстояние, и посреди ослепительного круга, выхваченного из тьмы десятками прожекторов, покачивался баркас.

Погода, словно решив вдруг помочь спасателям, улучшалась на глазах. Погода-то улучшалась, но время, время! Оно бежало неумолимо.

И вот буксиры потянули. Начали постепенно, полетоньку наращивать обороты. Развили ход до полного. Но лодка как стояла на месте, так и осталась как приклеенная. Только качнулась слегка, а потом замерла вновь — так сообщили снизу. Теперь телефон буя не умолкал, требуя все время объяснений. Утешать в такой ситуации было бесполезно. Опять приходилось ждать, отсосется ли корпус лодки от грунта, когда медленно по капиллярам-трещинкам вода проникнет между металлом и грунтом, — или не отсосется, как уже случилось раз — с «Керчью». Вмешаться в этот процесс спасатели были бессильны. Буксирам было строго-настроено запрещено рвать, дергать конец. Не трогаясь

с места, они ровно и мощно тянули вперед, точно по тому курсу, что проложили им спасатели. И Чикер представил, как сейчас дрожит, вибрирует в толще воды, точно чудовищная струна, стальной трос. Он, конечно, далеко не напоминал волосок, но на нем сейчас висело множество жизней, и он тянулся к ним одной-единственной и, наверное, последней спасательной тропкой.

Прошло уже десять минут, пятнадцать... Лодка была без движения. Двадцать! Ни с места. Сотни пар глаз со всех судов до боли всматривались в яркое пятно, где стоял только маленький черный баркас.

Полчаса прошло... Лодка стояла на месте.

И вдруг — Чикер услышал даже на расстоянии — что-то крикнули снизу, что-то непонятное крикнули, и не так, как кричали в трубку до сих пор.

И тут над морем, залитым мертвым светом прожекторов, поднялся водяной гриб... Кипящая пузырьчатая гора — зеленая, белая, черная — тяжело вздыбилась прямо над утлым баркасом. И тотчас из пучины вылетело округлое темное тело лодки. Лодка вылетела из воды вся, целиком, можно было даже разглядеть днище и пенные струи, сбегавшие с него. Показалось — лодка так и застынет в воздухе на фоне звездного неба, как раздувшееся чудовище, — так нереально было ее появление. Но в следующий миг она с грохотом упала в воду.

Она вылетела как раз под баркасом, и, будь ее появление не столь стремительным, неизвестно, что случилось бы с баркасом, с его командой. Но буруном суденышко отбросило в сторону, совсем немного отбросило, так что лодка все же чиркнула по баркасу. И когда она снова оказалась в воде, Чикер перемахнул на палубу.

Водяной гриб над лодкой вспорол море в густой тишине. Или только казалось спасателям, что над морем висит тишина: так были обострены все чувства и направлены на одно — ожидание. А когда лодка вылетела, а потом упала в воду, раздался пронзительный многоголосый свист, точно разом кричали десятки паровозов. Это из корпуса лодки через отжатые крышки стравливался избыточный сжатый воздух. Чикер торопливо перекрывал наружные вентили системы вентиляции, которые могли создать угрозу попадания воды в отсек. К борту подлетел торпедный катер — на нем толпились специалисты-подводники. Но их помощь теперь была не нужна.

Все было позади. Оставалось только отбуксировать спасенную лодку на базу. Буксировались долго, медленно, почти всю ночь, и Чикер, идя до базы на палубе лодки, продрог. От ветерка немного уберег спасательный жилет. Можно было бы спуститься вниз, но он стоял на мостике и уходить не хотел. Хорошо было вот так идти под звездами к далеким огням города, к родной базе.

Там их ждали. Лодка ошвартовалась у стенки. Экипаж вышел и построился на пирсе... Когда лодка всплыла, подводники выглядели плоховато — меловые лица, запавшие глаза. Но за время перехода они оправились и теперь стояли, держась молдцевато, даже браво. Зато спасатели... Вот кто имел жалкий вид: обтрепанные, замасленные, из последних сил держась на ногах, они счастливыми глазами рассматривали шеренгу подводников.

А потом была долгожданная баня. И праздничный обед — вроде общего дня рождения. Для подводников, наверное, это и был их день рождения, второй день рождения в году, и, возможно, главный за всю жизнь.




Ю. ЛОЩИЦ

ОТБЛЕСКИ

В доме бабушки моей
печка русская — медведицей,
с ярко-красною душой —
помогает людям жить:
хлебы печь,
да щи варить,
да за печной
и на печке
сказки милые таить.

Ксения Некрасова

 опором я поддел доску,
гвоздь со скрежетом —
даже за рекой, на том
берегу отдалось — вышел из на-
личника наружу, и доска шлеп-

нулась оземь. Остальных окон, заколоченных еще с осени, не стал открывать: на два дня и так хватит мне свету. Наружная дверь и дверь из сеней в избу распахнуты настежь, потому что на улице теплее, чем в помещении, — конец апреля. Но все же промозглый, застоявшийся дух плохо выходит из полутемной комнаты, и надо затопить печь, чтобы скорее эту сырость вытянуло.

В сарае есть у меня запас — небольшая поленица наколотых дров. Я набираю беремя, свободной рукой прихватываю пару можжевеловых жердей. Вынул заслонку — из темноты нутра печи дохнуло холодом, кислотою залежавшейся золы. Кочергой я отгрел ее к дальней стенке, и теперь можно приступить к главному — строить колодец. Вниз укладываю самые крупные поленья, стараюсь, чтоб были ровными, одно к одному. Тогда прочней будет держаться вся пирамида, дольше не развалится. Можжевеловые дровешки — в боковые щели, в каждый просвет между поленьями — для запаха. В подпечке нашлось несколько кусков старой дранки и свиток бересты, и эту растопочную мелочь я тоже пристроил по уступам своего колодца, а потом полгоньку стал сдвигать его дальше от устья, к центру печи, напирая кочергой поочередно то на одно, то на другое из опорных поленьев.

Теперь остается только задвигнуть убрать с дымохода. Открыл дверцу под основанием трубы, нащупал чугунную тяжелую тарель, приподнял и подвинул ее вбок, да тут рука наткнулась на что-то жесткое, холодное и колкое, и я машинально отдернул ее. Сверху соскользнула струйка сажки и полетело, раскачиваясь в воздухе, перо. Вот оно что! В дымоходе — чье-то гнездо. Разнюхала хитрая птица, что дом нежилой, и давно уже тут обосновалась, еще до снега, судя по тому, что натаскала себе даже фантиков прошлогодней давности. Пришлось мне по кускам выдергивать и извлекать пестрый этот мусор — ветки, солому, клочья ткани и бумаги, перья, перемешанные с сажей.

Но вот наконец все чисто, все готово, можно затапливать. Робко трещит береста, сворачиваясь в кольца, за нею занялись куски сосновой дранки, дымок лениво пополз в тягу, и проступил из тьмы печной свод — отыкшая от огня кирпичная утроба.

Я пододвинул табурет и сел

напротив, с удовольствием вытянув ноги; четырнадцать километров шел от станции — полем, и лесом, и опять полем — и устал с отвычки, но все говорил себе: «Не останавливайся, там посидишь — у своего огня, и прикуришь — не от спички, а от уголька».

Дрова оказались достаточно сухими, весело щелкают, брызгают во все стороны искрой, постреливают угольками. Поверхность печного свода уже отогрелась, побелела от жара, но снаружи кирпич холоден, простуженно-льдист, и долго еще нужно гудеть ламени, чтобы печь выпарилась, напиталась драгоценным жаром, чтобы пронзительный озноб улетучился из ее тела и она начала работать для всего дома.

Возле пламени думается легко, неторопливо, и о чем, и о ком только не вспомнишь! Я вспомнил... Филемона и Бавкиду.

Овидий Назон, творец «Метаморфоз», повествует о том, как однажды ветхую хижину, в которой доживала свой век скромная супружеская чета — Филемон и Бавкида, — навестили три божества в обличе странников. Они могли бы найти себе пристанище и побогаче, но предпочли именно этот дом, отмеченный печатью мира и согласия. Старики засуетились, захлопотали, чтобы хоть что-нибудь собрать из своих скудных припасов на стол. Замечательна в них эта по-детски бескорыстная (ибо не догадываются, кто их навестил) радость, этот наивно теплящийся на древних лицах дар гостеприимства.

Вот нахохленною птицей сгорбилась Бавкида над очагом, расшевеливает гряду пепла — там, под нежным сизым бархатом, жив еще вчерашний огонь. Это место у Овидия поражает несведущего читателя тонкостью наблюдения: оказывается, огонь может сберегаться, дышать под пеплом целые сутки. Очаг только по видимости остыл, несколько уверенных движений, и струйка пламени побежит по сухим листьям, коснется хвороста.

Эпизод из «Метаморфоз» замечателен не только тем, что в нем донесен до нас давний навык человека в обращении с огнем. Этот эпизод еще и символичен: слабые, полунищие старики, в которых жизнь едва теплится, кажется, и существуют лишь для того, чтобы состоять неумирающими хранителями при своем очаге. Они вечно несут эту тихую службу, вечно ждут: вот-вот постучит в их дверь усталый путник...

Сколько уже тысячелетий

скользят по лицу человека отблески пламени, разведенного в домашнем очаге... Глядя на огонь, чувствуя кожей его прерывистое дыхание, человек не может не думать, не погружаться мыслью в самые сокровенные глубины своего существования. Что является ему в жарких видениях? Видит ли он закатное небо, охваченное пожаром? Проступают ли перед ним кровли и башни городов, озаренные гибельной лавой? Или же чудится поединок, всегда один и тот же: воин в алом плаще и дракон с огнедышащей пастью? Или он прикасается зрением к тайне земли, к тому, что глубже всех морских глубей и рудниковых колодцев, с их мерцающими металлическими жилами, к тому, что клокочет в ее ужасном чреве (представить только, что все это постоянно под нами!)?

А может быть, он думает об огне совсем трезво и по-хозяйски: да, то, что я вижу, есть стихия, самая жгучая и острая, самая легкая и чистая из всех стихий — небесный спирт. Да, эта могущественнейшая стихия пронизывает своими токами весь космос, она воеет и безумствует на воле. Но к человеку она, в общем-то, снисходительна и, хотя живет в любой из вещей (ведь пылать могут и камни), но не жалит и не кусает, когда мы какую-нибудь из вещей берем в руки, а, наоборот, даже позволяет себя укротить и служит нам в рабском виде домашнего тепла.

Не потому ли человек делается тем спокойнее, чем дольше глядит на пламя своего очага? Страшные видения и фантазии перебарываются в его душе уверенным осознанием того, что огонь, каким бы великаном он ни представлялся, все-таки знает меру и подвластен той равнодушной к человеку силе, которую принято называть законами природы.

Эти минуты, часы и века, проведённые человеком наедине с тихим огнем очага, — неужели они исчезли бесследно как дым? Неужели ничем не напоминают они о себе жителю современного сверхгорода, получающему ежедневную порцию тепла из двух труб — газовой и паровой? Ведь не может же он, право, с любованием смотреть на скучный синий венчик кухонной конфорки! Включил, вскипело, выключил — и все. А комклатный атрибут парового отопления — металлическая гармошка под окном — еще

скучнее. Мысль о том, что существует же где-то живой источник этого почти абстрактного тепла, навещает его раз в году, а то и реже, он обдумывает ее с некоторым угрюмым усилием. Как подневольный ученик, которого постоянно шпыняют тем, что он живет на всем готовом, обдумывает громоздкое алгебраическое уравнение.

Конечно, владелец газовой горелки и отопительной гармошки умом прекрасно понимает, в чем тут дело: времена переменялись, круто сдвинулись экономические условия существования, на смену одним видам топлива пришли новые, более удобные. Ему не нужно теперь заботиться о дровах или об угле на зиму, тем более о керосине для примуса. Не нужно теперь ему и его домашним занимать свое время джюнкингом других, более мелких операций: пилить, колоть, прочищать дымоход, оберегаться от угара, чистить кастрюли и чугуны от копоти. Все это для него позавчерашний день, диковатый, пахнущий варварством.

Но почему же тогда, вырываясь на несколько часов в какой-нибудь пригородный лесок о трех соснах, он впопыхах ломает первую подвернувшуюся под руку хворостину, и вот, глядишь, уже смастерил нечто наподобие костра, чиркает спичкой, счастливо ухмыляясь и напрочь забыв, что всего в ста метрах отсюда читал он предупреждающее: «Берегите лес от пожара»?

Говорят, что нынешние лесники главным своим врагом считают не порубщиков, а горожан, любителей подышать природным дымком. Но как же не почувствовать и последним! Ведь разведение лесных костров для них чаще всего не причуда, а стремление утолить неумирающую жажду общения с **живым** огнем; тут заявляют о себе упорные гены из самых архаических пластов людского опыта. Заявляют робко и подчас невпопад, потому что ощущение причастности к древнему делу горчит зыбкостью и неполнотой: еще несколько часов, еще час — и нужно возвращаться от прекрасной этой полуигры, от праздничного и почти священного ритуала к трезвой действительности включателей и конфорок.

Впрочем, можно и не выезжать никуда, а, сидя в городской квартире, зажечь вечером пахучую свечу (в каждом доме теперь есть свеча), зажечь и смотреть без усталости на гибкое и острое тельце пламени, на его упорное

сопротивление сквознячку, громаде тьмы, выросшей во все стороны подобием необжитой ночи. Огонек ведет свою речь, печальную и чистую, о чем-то просит, про что-то напоминает. Разве это не образ, не отблеск все того же домашнего очага?..

Но есть и иные напоминания. Они — в реальности угловатых, тяжеловесных вещей, не спешащих умереть.

Мне, человеку, считающему себя городским, подолгу приходилось жить в крестьянском жилище: в детстве — белая украинская хата-мазанка, в последние годы — владимирская старая изба-четырёхстенка. Традиционные национальные типы жилища — будь то изба или хата, юрта или сакля — при всем конструктивном разнообразии, которое подсказано климатом, особенностью строительного материала и навыком предков, — сходны в одном — в том, какое особое, предпочтительное место в них отведено источнику тепла. Шутка ли, в средних размерах избе (то есть достаточно тесноватой для семьи даже в пять-шесть человек) печь занимает почти четверть жилой площади! Кажется, строение для того лишь и возводится, чтобы прикрыть собою печь и еще небольшое пространство вдобавок. Но и тут же видишь обратное движение: стены и потолок не только прикрывают ее собой, но они и сами как бы жмутся к ней как к своей надежной защитнице.

Конечно, в избе есть и красный угол, и он, как правило, противоположен тому углу, который занимает печь, — слева от входной двери. Но эта традиционная смысловая диагональ жилища только резче подчеркивает достоинство каждого из ее «главных» углов-полосов — духовного и материального. Семья попеременно собирается то в одном, то в другом.

Печь монументальна. В этой белой угловатой глыбе дышит мощь законченной формы, совершенство строительного расчета и вкуса, проверенного веками. Уютное кострище древнего человека — вот что послужило фундаментом, от которого оттолкнулась ее конструкция в своем долгом становлении: над кострищем возник свод, сначала невысокий и глинобитный, потом кирпичный, с гораздо большим дыхательным объемом; дым уходил в отверстие потолка, но выросли шейные позвонки трубы; лежбище огня поднялось от земли почти по пояс

человеку; свод оброс с четырех углов квадратными плечами, и наверху образовалось пространство лежанки, расширенное полатами. Для всего этого понадобились века, и мы еще можем видеть сегодня в натуре все или почти все промежуточные формы, приведшие в конце концов строительную мысль к образу русской печи.

Печь — совершенное архитектурное целое, и это говорит вообще не из желания «облагородить» ее лишним эпитетом. Она совершенна потому, что в формах ее предельно, до конца выражены все возможности и функции домашнего очага. Можно сказать, что этой конструкции больше уже некуда и незачем развиваться, и вот она застыла перед нами в качестве некоего классического устройства, каждая часть и роль которого накрепко пригнана к остальным.

Она не только обогревает жилище, но и регулирует чистоту его воздуха. Не только человека греет, но своим кирпичным днищем еще и вниз, в подпол, дает тепло, необходимое зимой для овощей.

Она — кормилица, подательница всякой пищи: из ее чрева вынимают горячие хлебы и пироги; никакая каша не бывает такой пахучей и разваристой, как из печи... Не могу не вспомнить и не описать тут одной из торжественных минут своего детства: бабушка, орудуя самым большим ухватом, извлекает из печи чугунок с украинским борщом; сняли крышку, и блаженный дух ударил в потолок, так что сам воздух мгновенно сделался сытным; то был запах разомлевшего мяса и нежно-кисловатый помидорный аромат, пахло свежестью молодой капусты, и фасоли, и только что сорванного с грядки укропа; чугунок, полный почти до краев, пылал кумачово-оранжевым варевом, в котором плавали полупрозрачные капли жира и подрумяненные шкварки. Но это было еще не все, потому что следом за борщом из печи появлялась громадная глиняная макитра, облитая золотисто-зеленой глазурью. Накануне бабушка натирала ее внутренность чесноком, вливала туда немного кипятку и напихивала доверху разломленными начетверо коржами. Только что из печи, еще горячие, они снова водворялись в жаркую темноту, чтобы разбухнуть и надышаться чесночным соком. И вот теперь эти два запаха — борща и коржей — бросились над столом бороться друг с другом, и

большая веселая семья взялась за ложки — деревянные, в огненных цветах и травах (ложки эти на украинские рынки исстари поставляла Хохлома).

А топленое молоко? А кислые щи «только из печи»? Что и вспоминать!

Но далее: печь не только щедрая кормилица, но и прекрасная сушилка. Ребята после снежных игр закладывают сырые варежки в печурки — подобие малых пещерок в боковой стене под полатами. Хозяйка, отдыхая от главных кухонных забот, принимается за сушку сухарей или, если подошел сезон, грибов. И хотя считается, что последние лучше проявляются на солнце, но, когда солнце капризничает, что и заменит его, как не печной жар? В чугунок, наполненные песком, втыкаются остроконечные палочки, унизанные отборным грибом. Три-четыре таких чугунка (в зависимости от величины сбора) выстанают под кирпичным сводом чуть поменьше суток — от топки до топки, — и когда вынимают их, то гриб почти уже и готов, теперь его можно укладывать в противень — и на печь, на окончателную досушку. В заготовительные эти времена в избах стоит особый дух — вкусной хлебно-грибной теплоты.

Сушат в печи и дрова: неутомимая хозяйка с вечера занесет в избу охапку поленьев и после того, как выгребет все непрогоревшие угли (главное топливо для самовара) в специальную кадь, укладывает морозные полешки на горячий печной пол, чтоб завтра дружной пылала.

Ну и, конечно, печь — первейшая лежанка, любимый закут шушукующейся детворы, целебное местечко для старого человека, который тут не один год жизни себе продлевает, покашливая да покряхтывая, перемогая с помощью ровного кирпичного тепла всякую хворь-ломоту.

Человеку, непривычному к спанью на печи, не так-то просто выдержать испытание первой ночи — очень уж парко и тесно тут, под самым потолком. Но зато утром спускается он вниз и не узнает себя: голова ясная, под стать солнечному морозному безветрию на дворе, и в теле благодатная легкость и свобода.

Бывают у печи и другие функции, на первый взгляд достаточно неожиданные. Как известно, одна из древнейших утех для русской крестьянской семьи — баня. Но обычай париться в банях вовсе не универсален; и в

средней полосе, да и к северу немало обозначается зон крестьянского заселения, где в течение веков обходились без бань, потому что заменяла их — да, пусть не дивится читатель — все та же печь. Охочий до пара человек с малой шаечкой воды пролазил устьем под свод и там томил себя в сухой, нестерпимо блаженной теплоте, устроившись на соломенной подстилке, — да еще и заслонку за ним затворяли. И потом уж, очумело выкатываясь на свет божий, начисто ополаскивал свое багровое, как у новорожденного младенца, тело на кухне, в большой лохани либо в корыте.

Наконец, для того чтобы полностью очертить возможности нашего уникального агрегата, именуемого русской печью, надо упомянуть еще об одной, совсем уж необычной ситуации — она относится, пожалуй, не столько даже к этнографии, сколько к крестьянскому знахарству, народной медицине.

Печь, щедро рожающая хлеба, печь-родительница — таков один из любимых образов фольклора, но этот образ символичен, а речь идет о событиях вполне конкретных: печное лоно, предварительно протопленное, делалось свидетелем великого таинства — рождения нового человека. От поколения к поколению рожать легче, от жара ее телу мягче.

Давний акушерский навык, конечно, нетрудно списать за счет исторической, так сказать, дикости, но ведь в нем, при всех поправках на время и условия быта, не может не поразить нас сила опыта, сила трезвого народного знания, уходящего корнями в глубины человеческой архаики. Этот опыт, надо полагать, не менее стар, чем те мифологические представления разных народностей, по которым первый человек вышел на свет из пещеры, из каменного чрева земли. Пещера, своды которой озарены огнем первого людского очага, и печь — они оказываются рядом, близость закреплена даже в звучании; не нужно быть специалистом-этимологом, чтобы расслышать: «пещера» и «печь» (а в древнем речении — «пещь») восходят к одному родовому смыслу.

И не случайно это «пещерное» свойство печи, ее способность быть защитницей, покровом для слабого человека — не метафорическим, а вполне реальным — с особой силой проявляла себя в години бедствий, когда сгорали дотла города и села, и только

остовы домашних очагов стояли на пожарищах, созывая к себе всех, кто уцелел и не лишился памяти от горя.

...В декабре 1240 года отряды Батые ворвались во «Владимиров город» Киев. О тех часах написаны романы, исторические исследования, но, может быть, самые пронзительные строки — в немногословном отчете современного археолога. Производя раскоп на месте сгоревшего квартала ремесленников, рабочие обнаружили полукруглый остов глиняной печи, а в ней — останки двух девочек-подростков, которые притиснулись друг к другу с поджатыми ногами. На шее у одной из девочек сохранилось два крестика — медный и янтарный. Последние минуты осажденного города. Все вокруг гудит от пожаров. Куда им бежать? Они спрятались в печи и, как знать, сколько еще часов или даже дней пролежали тут в ужасе и надежде, что еще спасутся...

Неразличимой древности кладка... Кажется, тысячи рук участвовали в ней, подбирали по кирпичу, бережно обмазывали сверху влажной и клейкой глиной. И столько вложилось в общее дело молчаливой доброты, что она теперь воочию исходит обратно — от улыбающейся печи; поддурманивает воздух и подмигивает добрым оком очага.

Куда бы ни шел человек, за спиной у него остаются надежные, прочные вещи, чтобы мог вернуться и успокоиться возле них, набираясь уверенности и внутренней тишины. Придумать что-нибудь новое — не такая уж и трудная для него задача. Гораздо трудней под напором дразнящей новизны соблюсти такт по отношению к вещам, которые так давно уже служат ему, что кажутся иногда даровыми, чересчур простоватыми...

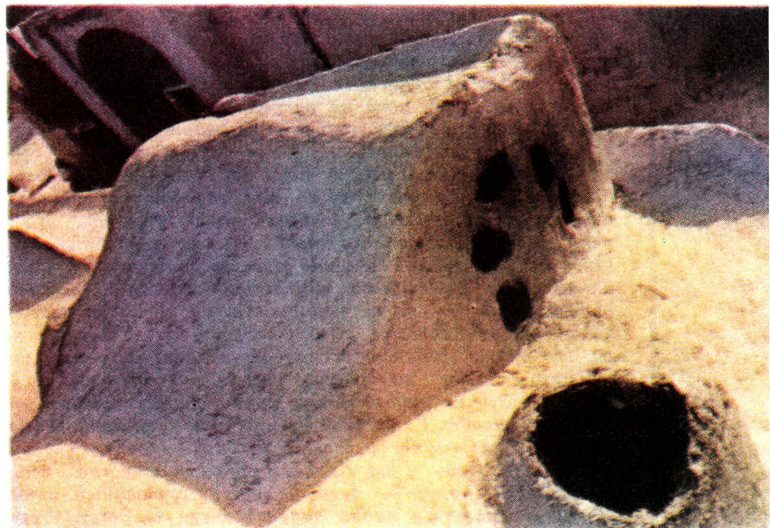
Но истинная цена всякой вещи проверяется — и, может быть, наиболее убедительно проверяется она искусством. Сколько от всех времен, от всех народов — от мифологических глубин отсчитыва — дошло до нас преданий, посвященных очагу! Или сколько прекрасных стихотворений, из которых можно было бы составить маленькую антологию, написано о русской печи!

Память о добром огне родительского жилья светится отблесками. Она входит в синтаксис человеческого существования как особая временная категория — незабываемое прошедшее время.

У ОЧАГА

Нет, наверное, на Земле народа, который равнодушно бы относился к огню — огню, пылающему в очаге. Огню приносили жертвы: малую толику от каждого блюда, каплю молока или вина, щепоть зерен нового урожая. Дом считался живым лишь с того момента, когда разгорался в очаге первый огонь. Если все селение состояло из одного дома или из многих соединенных в один домов, то считалось, что душа селения живет в большом общем очаге. У народов, живших на территории нынешнего Афганистана, общий очаг строили на площади. Каждая же семья обозначала в большом доме свою «территорию» собственным очагом и зажигала его от огня большого очага. И как все семьи вместе составляли племя, так считалось и все малые огни суть части одного большого, общего. ▶

У многих верующих индийцев, например, до сих пор очаг в новом доме разжигают от огня, пылающего в индуистском храме: это должно придать домашнему очагу свойство очищать дом и хранить его от всего дурного. ▼



Тандыр — сооружение нехитрое. Как и все мудрые вещи. Всего-то глиняный кувшин огромных размеров, приподнятый на кирпичях над землей; в боку его проделано отверстие — для лучшей тяги. Глина нагревается медленно, зато уж, разогревшись, тепла долго не отпускает. Чтобы разогреть кувшин, бросают в него хворост, много хворосту, и жгут, пока не раскалятся стенки тандыра чуть не до белого каления. Потом прогоревшие угли оттуда выгребают, только чуть-чуть золы оставляют, чтоб тепло дольше держалось.

Тандыр «раскопчегарен». А пока он нагревался, рядом женщины месили тесто, хорошо промешанное, промятое тесто для тандырного хлеба. Тандырный хлеб, то есть хлеб, испеченный в тандыре, бывает самый разный, это зависит от муки, из которой пекли, и от формы самого хлеба. А пекут его одинаково — без огня.

Оторвав ком теста, женщина ловким движением припечатывает его к раскаленной глиняной стенке тандыра. С внутренней стороны, естественно. И хлеб, лепешка, повторяет рельеф глины — те же неровности, ту же шероховатость и даже чуть-чуть ту же закопченность. Печется хлеб быстро, а когда готов, легко отходит от стенки тандыра. Но он так горяч, что без специальной рукавицы его рукой не взять. Корочка тандырного хлеба на ощупь тверда, но это нежная твердость; оттого так приятно хрустит хлеб на зубах. А под корочкой мягкость, нежная и горячая, даже когда корочка остывает. Разломите тандырную лепешку, положите на нее кусочек масла, и масло тут же начнет растекаться, окрашивая хлеб в золотистый цвет.

В Средней Азии и на Кавказе среди множества непривычных запахов вы немедленно различите один — острый дымок, смешанный с ароматом свежего горячего хлеба. Почти из каждого двора доносится он, и, ощутив его однажды, вы никогда уже не забудете его, этот утренний запах.

И запах этот будет вам желанней самых тонких ароматов, если знаком вам вкус тандырного хлеба...



▼ У индейцев-пуэбло уважение к огню требует чисто-начисто подметать площадку перед общим большим очагом: огонь-очиститель пище всего любит чистоту...





▼ *Перед тем как уйти на охоту, эскимосы показывают домашнему огню образ того животного, которое хотят убить: домашний огонь поможет им в охоте.*





ИШТВАН ФЕКЕТЕ

ВЕНГРИЯ ЛЕСНАЯ

Бывает, что пристанет к какой-нибудь стране или краю эпитет и, укрепившись от многократного повторения в нашем сознании, начинает определять восприятие этой страны (особенно если мы там не бывали или были очень мало). Эпитеты бывают разные: «солнечная», «туманная», «край гор», «страна тысячи озер» и т. д. За Венгрией прочно закрепилась характеристика «степного края», «страны бескрайней пушты», «земли полей и виноградников».

Поэтому не сразу представляешь себе, что и определение «лесная» подходит к Венгрии ничуть не менее, чем все приведенные выше. Тем не менее определение это совершенно справедливо: ведь леса здесь занимают больше чем миллион гектаров, то есть шестую часть страны! А богатством животного мира венгерские леса превосходят зеленые моря куда более лесистых стран мира. Кабаны, благородные олени, серны, муфлоны, лисы, зайцы, фазаны, куропатки, дрофы живут в Венгрии в самом непосредственном соседстве с человеком, что и

не мудрено, ибо средняя плотность населения этой страны в самом что ни на есть центре Европы примерно сто человек на квадратный километр. Казалось бы, где уж тут уместиться на том же квадратном километре еще и животным? Однако количество диких зверей и птиц в Венгрии не уменьшается, а, наоборот, растет из года в год. Объясняется это в первую очередь большой любовью венгров к своим четвероногим и пернатым согражданам.

Но дело, естественно, не только в этом. Венгрия — одна из первых в мире стран, сделавшая звероводство и спортивную охоту немаловажными отраслями своей экономики. Для этого венгерским зоологам и охотоведам пришлось пересмотреть сами понятия «звероводство» и «охота». Звероводство в Венгрии — это не волеры с десятками тысяч животных; венгерские зверофермы — все тот же миллион гектаров лесов плюс озера плюс степи плюс даже возделанные виноградники и пшеничные нивы. А охота в Вен-

рии — это не только (и, пожалуй, не столько) количество добытых шкур и тонны мяса, но количество проданных лицензий на право отстрела определенного зверя, а иногда, если угодно, просто разрешение на право побродить с ружьем (не только для романтики, но и для безопасности) в одиночку или в сопровождении егеря, пешком или на двуколке. И стоимость лицензии зависит от нескольких непривычных на первый взгляд величин: длины кабаньих клыков в сантиметрах, веса рогов в килограммах и даже количества отростков на них. Для знатока эти единицы измерения, разумеется, говорят многое: чем старше зверь, тем длиннее клыки у вепря, тем тяжелее и ветвистее рога у оленя.

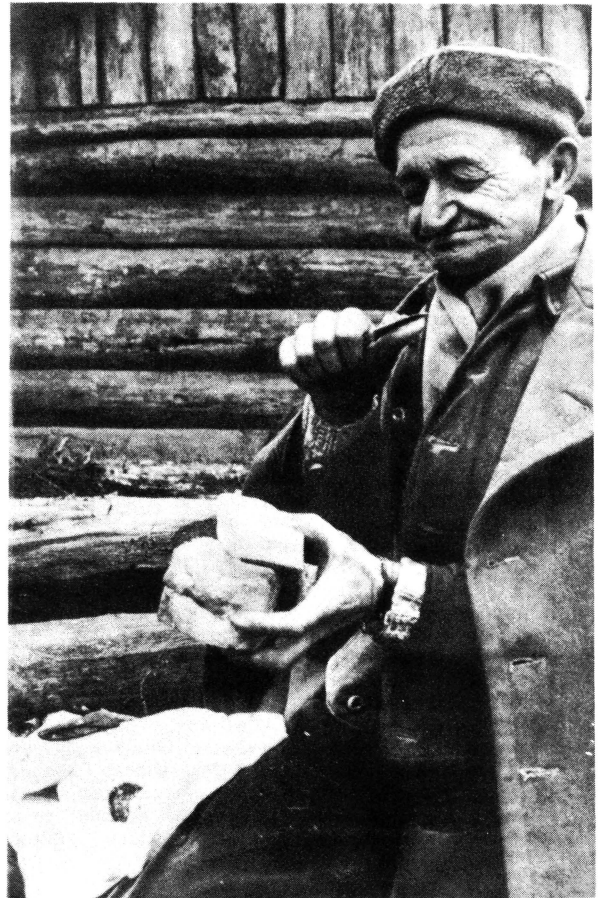
Венгерские организаторы «охоты на экспорт» просто взяли в расчет то, что ценят сами охотники: охотничий трофей. Действительно, самый крупный кабан весом килограммов в 100—120 в пересчете на мясо принес бы в государственную копилку долла-

ЯНВАРЬ. РОЖДЕНИЕ НОВОЙ ЖИЗНИ

Зима. Еще палят по лесам охотничьи ружья, но это уже как воронье карканье по весне. Конец охоте. Не каркай, добрая птица, мы не будем грустить, что до поры нам придется повесить ружье на гвоздь! Тот, кого это огорчает, не охотник. Для настоящего охотника год не укорочен запретами, для него нет «сезона охоты», у него в распоряжении целый год. Все двенадцать месяцев. Точно так же, как у домовитого крестьянина: Тот пашет, сеет, ухаживает за нивой и лишь в конце пожинает плоды. Но все делает с равной радостью, удовлетворением, любовью. Смена времен года только меняет виды работ, и после сбора нашего охотничьего урожая мы заняты севом и возвращением молодых всходов.

Еще палят ружья, но в охотничьих ревирах мы уже подсчитываем: сколько стай куропаток перезимовало там, а сколько здесь, почему так мало здесь, а больше там?..

Снег как развернутая газета. Прочитать в ней можно о многом, пусть новости не всегда самые последние. Там нашли растерзанного зайца, здесь — останки куропатки — одной, другой... видели, как с места преступления рванулся ввысь ястреб-перепелятник или другой разбойник. Под выстрел они попадают редко. Некрупные птицы, они на большой высоте преспокойно проплывают над головами и ружьями охотников, и никому до них дела нет. Хуже беднягам коршунам, этим эпигонам орлов. Они не спешат улететь, да и взлетев, не стремятся сразу набрать безопасную высоту, когда им вдогонку свистит свинец. Часто они опаздывают убраться,



Лесник Балинт Тёрёк — один из хозяев венгерского леса.

ров 100—150. Но венгерские хозяева лесов положили в основу другое измерение, и лицензия на отстрел такого «суперкабана» для охотника-интуриста стоит от 2 до 10 тысяч долларов! И, оказываясь, это еще даже дешево в сравнении с ценами на европейском охотничьем рынке. Недаром же импортеры из ФРГ ежегодно закупают в Венгрии сотни тысяч живых зайцев, чтобы затем выпустить их в своих охотничьих угодьях, которые сдаются внаем местным охотничьим обществам и туристам по таким ценам, что доходы от этой аренды с лихвой покрывают все издержки по импорту. Но, «экспортируя» охоту или «импортируя» интуристов-охотников, Венгрия отнюдь не забывает о собственных спортсменах: более 80 процентов всех охотничьих угодий и две трети всех лесных охот сдано в аренду 800 добровольным обществам охотников. В них состоит около 20 тысяч человек. Разумеется, им не нужно платить огромных сумм за право подстрелить оленя или кабана: арендная плата в год для охотничьего общества в 20—

40 человек составляет примерно 8 копеек (на наши деньги) за гектар угодий.

Леса в Венгрии содержатся в идеальном порядке, в них строго регулируется не только количество ежегодных лесосек, но и место, и даже время рубок: чтобы не беспокоить зверя и боровую дичь в период отелов, гнездования, выведения птенцов. Охраной леса и его богатств занимаются лесники: содержат леса в порядке, оберегают их от пожаров, а зверей и птиц — от пули браконьера. Но и те люди, что объединены в охотничьи общества, тоже несут добровольную службу по охране леса. В Венгрии каждый охотник — лесник.

Потому-то Венгрия, где за последние десятилетия население увеличилось, не только сохранила, но и приумножила обилие дичи в своих лесах и степях. Вот и на квадратный километр охотничьих угодий ныне приходится как минимум двадцать голов крупного зверя и около 200 зайцев, фазанов, куропаток, не считая перелетных птиц: уток, гусей, вальдшнепов.

Венгрия превратилась, можно сказать, в мировой центр охоты.

Но не только сердцу охотников милы венгерские леса. Сотни тысяч горожан регулярно приезжают сюда просто отдохнуть в тишине, под сенью буков и елей. Обычно считается, что такой наплыв горожан в леса — а в летнее время он случается ежедневно — приводит к тому, что лес становится чем-то вроде филиала городской свалки. В Венгрии этого не происходит, ибо венгры с детства воспитаны в духе глубочайшего уважения к родной природе, и слова «лес — достояние нации» они понимают буквально.

Йштван Фекете (несколько его зарисовок о временах года в венгерском лесу мы печатаем ниже) всю жизнь проработал лесником и всю жизнь писал книги о лесе и его обитателях. Его книги помогают нам понять, что любовь к природе, привитая целому народу, — чувство далеко не созерцательное, оно лежит в основе той большой заботы, что позволяет сберечь природу даже в очень густонаселенной стране в центре Европы.

и тогда стрелок с радостью восклицает: «Попался, изверг!» А о том, сколько этот «изверг» за день уничтожил мышей, небось и не подумает. На самом же деле коршунов застают на «месте преступления» те самые горе-охотники, которые любят похвастаться, что их ружье «и на сто двадцать шагов насмерть косит». Подраненная такими «рекордсменами» дальней стрельбы, недобитая дичь и становится к утру добычей ворон, коршунов и лис. Хищные звери и птицы сразу замечают, какая из их жертв подранена, больна, не может ни защититься, не спастись бегством. Коршуны здесь не исключение. Пролетая над трепыхающейся на снегу, а то уже и закоченевшей куропаткой, он, естественно, предпочтет столь легкую добычу поискам увертливой мелкоты — мышей. А люди начинают потом клясть лесных санитаров:

— Своими глазами видел, как он жрал куропатку.

— На зайце пристрелил разбойника! Подпустил к себе повозку на двадцать шагов.

Всю жизнь я прожил в лесу и в поле. Знаю я хищных птиц, узнаю их по полету: у меня до сих пор острый глаз, но я ни разу не видел коршуна, преследующего здоровую дичь. Перепелятники, ястребы и соколы-чеглоки — другое дело. А коршуны? В наш округ на лето обычно прилетает их сорок-пятьдесят. А мышей в прошлом году было такое множество, что они уничтожили чуть не треть урожая; были даже такие участки, которые не стоило убирать. Их пришлось просто перепахать. И никакая борьба с мышами не помогла, если бы не коршуны да красноголовая пустельга. Они-то, увеличившись числом, почти полностью и извели мышинное племя. Были участки, над которыми насчитывали по коршуну и по две пустельги на четыре гектара пашни. Значит, в округе насчитывалось примерно

150 коршунов и пустельг, и они истребляли в день по тысяче мышей-полевок.

Смело берусь утверждать, что мышинное нашествие предотвратили исключительно коршуны и пустельги.

Стоит январь. Еще кое-где палят ружья, но ветер уже шелестит: «Не забудь, человек! Помни. идет пора рождения новой жизни, и на нее нужно смотреть глазами заботливого сеятеля...»

АПРЕЛЬ. ПРОБУЖДЕНИЕ

По ночному небу ходят тучи. За ними порою мигают маленькие звездочки, но вокруг такая тьма, что не верится, что звезды вообще существуют. Наверное, и луна тоже бредет где-то по небу, холодная и безучастная, но ее слабый неживой свет меркнет среди скопища туч, спешащих с юга с таким видом, будто у них какое-то очень серьезное задание.

А внизу тишина. Только ручей шепотом передает срочные сообщения, но даже его шепот — тоже частица общей тишины.

По черным полям, среди черных кустов бежит этот ручей, и лишь иногда на его глади блеснет робкая рябь как обещание скорого рассвета.

На лугу вздыхает сонная мгла, а под нею словно игрушечные кратеры осыпаются кротовые ходы: их подмыло водой, и они оседают и рушатся, будто маленькие замки перед нашествием.

Скачут по пашне навстречу друг другу два зайца, такие озабоченные и погруженные в свои думы, что чуть не сталкиваются лбами.

— До смерти можешь перепугать! Не можешь осторожнее!

Другому и сказать нечего, и сам испугался.

— Извини, — лепечет он, — задумался. Столько

забот, столько опасностей вокруг, что с ума можно сойти.

— Что верно, то верно, — успокаиваясь, соглашается первый заяц. — Как твои малыши?

— Растут. Но я-то, дурак, поселился так близко от дороги. Все время люди снуют мимо, от страха прямо инфаркт зарабатывают.

Внезапно зашелестел ветерок. Заяц припнулся к земле и совершенно слился с нею.

— Глупые! — усмехнулся в высоту филин. — Нужны вы мне! Мне мышей подавай, да проклятый дождь извел их всех.

И филин понесся дальше, к деревне, где вблизи амбаров еще живут, не зная забот, мышки.

...Только ручей весело журчит, спеша принести вести из дальних краев. Мелкие волны накатываются на весенние стебельки камыша, и те грустно покачивают своими султанчиками.

— Ну что ж вы? — шепчет им ручей. — Проснитесь! Там, за горой, рождается свет. А вы, маловеры, стоите склонив головы. Неужели вы ничего не чувствуете? Идет свет, тепло, весна!

И вдруг гребни холмов отделились от неба. Небо сразу же сделалось высоким, потому что оторвалось от земли, к которой его приклеила ночная мгла. Холмы стали округлыми и мягкими, как большие мягкие хлебы, и по их макушкам провела теплой рукой первый солнечный луч.

И сразу же все зашевелилось: луг, камыши, лес. В лесу защелкал черный дрозд, его певучая нежная музыка пала на лисье логово, где спали две лисы, и под эту песню они сладко облизнулись. Над пашней взвился и зазвенел жаворонок.

По бороздам поскакали, семафоря ушами, зайчишки.

Старые сухие камышинки и те расправились над ручьем. А крохотные волны, пустив колечки вокруг них, заворковали:

— Ну что, мать, зря ты печалилась.

— Верно, верно, — закивала старая тростинка, — больно уж долгой была эта ночь. Я ведь не за себя беспокоилась, вы же знаете... — И она застенчиво заглянула к себе под мышку, где в этот миг родился на свет ослепительно зеленый, первый камышовый листок.

ОСЕНЬ. ПОРА УРОЖАЯ

Сентябрьские дни. Улетели последние ласточки, зашуршали, став жесткими, кукурузные стебли, и задымилась тихие прощальные туманы на далеких крышах холмов. По вечерам на опушках леса вспыхивают костры, и луна в большом багряном ореоле взбирается по небу на Млечный Путь.

В один из таких вечеров лесничий, мой начальник, сказал:

— Жалуются крестьяне: опять дикие кабаны потравили кукурузу. Пройдись по ревиру, взгляни, чем там занимаются сторожа. Боюсь, спят, бездельники.

Я уже и сам был полураздет, готовился ко сну, поэтому лесничий, увидев кислую мою физиономию, на прощанье добавил:

— Выспаться успеем в могиле.

И с тем удалился.

Я снова натянул сапоги, бросил полный сожаления взгляд на свою постель, о которой страстно мечтала каждая частичка моего тела, и подался в чашу залитого лунным светом леса. Под мышкой у меня был старый-престарый «манлихер», в кармане позвякивали патроны, а вообще вокруг стояла тишина, и все вокруг спало мирным сном. На косогоре напротив жгли костры цыгане, а по кустам, словно золотые орешки, горели светлячки.

Высоко в небе пролетали тучки, под черными сводами старого леса меня вдруг принялся страшить филин, а хорошо знакомые тропинки под лунным сиянием сделались неузнаваемыми, словно я никогда и не хаживал по ним.

Луч луны становится таким волшебником только в начале осени. В эту пору на всем лежит какая-то тончайшая паутина тумана, и белые стены домов становятся видны за много километров, а вся округа становится вдруг совсем незнакомой, какой-то сказочной, не похожей на ту, что мы видели еще накануне днем. Вскоре передо мной замаячили костры лесных сторожей. Я стал осторожно подкрадываться к ним, готовясь произнести обвинительную речь, поскольку уже издали видел, что вокруг костра нет ни души. В этот момент рядом со мной заговорила кукуруза:

— Здесь мы, Пишта! Возле костра-то сидеть жарко.

Передо мною стоит в потертом пальто старый сторож Матула. Трижды прошел бы я мимо и не заметил его.

— Ладно, пошли к огню, — говорю я. — Раз уж я здесь, подавай мне этого проклятого кабана.

— Придет кабан, не беспокойся, — заверяет меня старик.

Он сбрасывает с плеч и стелет на землю дряхлое свое пальто, и я растягиваюсь на нем.

Я смотрю на костер, где над углями режутся огоньки, на рождающийся и уплывающий дымок, на звезды в ночной мгле.

Не знаю, как долго любовался я костром и когда сморил меня сон, но когда проснулся, луна уже плыла высоко над головой, а на месте костра светились только догорающие угольки. Вокруг ни души. Ветер стих. Немного погодя рядом вновь появляется старый сторож.

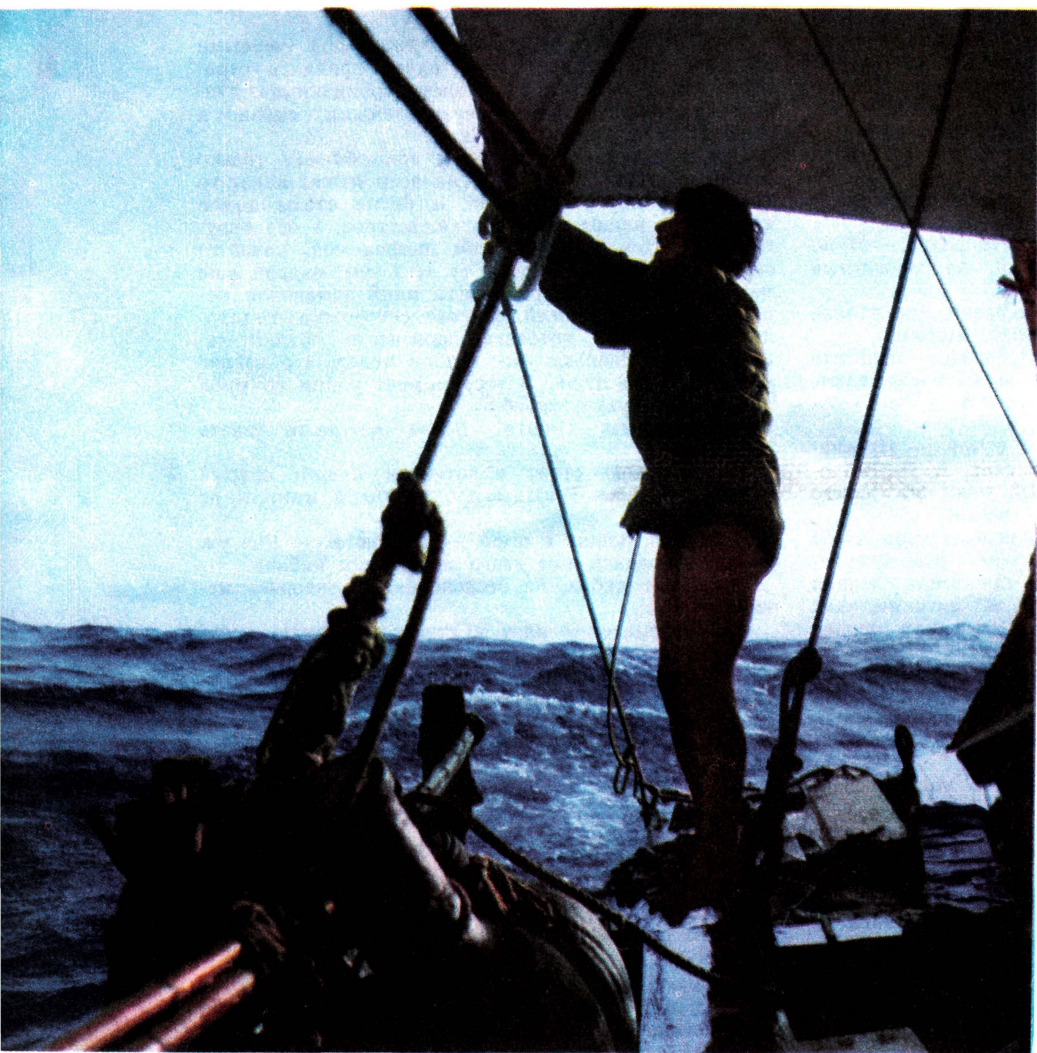
— Пришли, — шепчет он и показывает рукой в сторону. Теперь уже и мне кажется, что я слышу какой-то шорох. — Два больших и поросята!

Я делаю Матуле знак сесть рядом и шепотом обсуждаю с ним наши дальнейшие действия. Я остаюсь на месте, а сторожа зайдут в кукурузу и от туда погонят на меня кабанье стадо. Другого пути у свиней нет, как только сюда, ко мне.

Сторожа ушли и начали гон. Вдруг какая-то темная тень глянула из кукурузы не более чем в десятке шагов от меня. Но она была так неподвижна, что я никак не решался принять ее за кабана и выстрелить в нее. Тут кто-то из загонщиков кашлянул. Этого кабаны не могли выдержать. Слово земля сама подбрасывала их, так стремительно мчались они вперед. Мелькающих теней стало так много, что я уже и не знал, в какую мне целиться. Но вот надвинулась самая черная из теней и словно паровоз промчалась рядом со мной; ее-то я и ждал. Малыши меня не интересовали. Промазать я не мог: вепрь чуть не задел щетиной ствол моего ружья. Но вместо громкого «бах» «манлихер» тихо звякнул: «четт». После этого что-то сказал и я, со злостью брякнув старой мортирой оземь.

Той осенью я еще много охотился на кабанов. Но счастье не слишком мне улыбалось. По утрам я просыпался разбитым, невыспавшимся и целый день чувствовал себя усталым. Но едва на небе загоралась луна, я должен был идти. Меня буквально душил воздух комнаты, давили ее стены. Меня манил лес, легкий туман, запах опавших листьев, а пуще всего — желание раеквитаться с ушедшим у меня из-под носа старым кабаном, который повадился ходить в кукурузу...

Перевел с венгерского Г. ЛЕЙБУТИН



ЮРИЙ СЕНКЕВИЧ
Фото автора

Впервые мы с Юрием встретились на аэродроме в Каире незадолго до того, как папирусную лодку «Ра» увезли с площадки у пирамид в марокканский порт Сафи, откуда должно было начаться экспериментальное плавание через океан.

Академия наук и Министерство здравоохранения правильно поняли, какой экспедиционный врач нужен на нашей маленькой папирусной лодке. Выбор пал на одаренного молодого ученого, сильного и здорового, как русский медведь, смелого и верного, веселого и дружелюбного.

Экспедиция показала, что папирус — вполне пригодный материал для строительства лодок при условии, что строят лодку и управляют ею люди, знающие толк в таких судах. Следовательно, представители древних культур Средиземноморья вполне могли пересечь мировые океаны и доставить ростки цивилизации в далекие края. И мы доказали, что люди из разных стран могут сотрудничать для общего блага, даже в предельной тесноте и в самых тяжелых условиях.

Юрий Александрович Сенкевич участвовал в обоих плаваниях, и в этой книге он рассказывает о наших приключениях так, как он их воспринимал.

ТУР ХЕЙЕРДАЛ

НА «РА» ЧЕРЕЗ АТЛАНТИКУ



Однажды вечером — это было еще на «Ра-1» — я сидел, глядел на луну и курил. Тур спросил: «Хочешь поговорить с Луной?» Я усмехнулся. «Нет, серьезно, мы сможем это сделать, когда экипаж «Аполлона» там высадится». И он рассказал, что радиовещание США предложило устроить этот рекламный сеанс, нечто вроде сенсации века: допотопная лодка и современная космическая техника на одной веревочке.

Сеанс не состоялся, но веревочка и вправду одна.

Есть у «Ра» с космолетом об-

Главы из книги «На «Ра» через Атлантику», которая выходит в «Гидрометеиздате». Печатаются в сокращении.

щее: там и здесь — безбрежное пространство, и крошечный островок посреди него, и люди, которым надлежит на острове длительное время плечом к плечу жить и работать.

Выражение «плечом к плечу» в этих обстоятельствах имеет заведомо буквальный смысл. И звучит оно порой не так мажорно, как казалось бы со стороны.

Представим себе лучший, какой только можно выдумать, вариант: в межпланетное путешествие отправляется экипаж, состоящий сплошь из великолепных, идеальных парней. Есть ли гарантия, что им не станет в полете трудно друг с другом?

Нет такой гарантии.

Человек не серийный робот. В самом прекрасном характере

имеются зазубринки, которые очаровательны неповторимостью своей и сообщают человеку одно из естественнейших его качеств — индивидуальность. В обычных условиях этому можно только радоваться, но вот условия стали крайними, как принято говорить, экстремальными — трудно, опасно, тесно, тоскливо, — и зазубринки принимаются цепляться одна за другую, и механизм общения начинает заедать.

Здесь важна еще — продолжая аналогию — степень прижимного усилия. Отшлифованные диски превосходно скользят друг по другу, пока их не сдавишь сильнее допустимого. Человеческие отношения, пусть и предельно близкие, всегда предполагают дистанцию: она может быть микроскопически малой, как между льдом и коньком или как между бритвенными лезвиями, плашмя сложенными в стопку, то есть будто бы и не ощущаемой, — но нам лишь кажется, что ее нет. И вдруг она вправду исчезает, наступает сверхжатое состояние — в кабине не уединишься, не спрячешься, ты весь на виду, постоянно на людях, в контакте с ними, хочешь того или не хочешь.

А если к тому же у тебя обыкновенный, отнюдь не идеальный характер, да и у твоих товарищей тоже?..

В зарубежных фантастических романах модно описывать будни разобренных, озлобившихся астролетчиков, в вынужденном содружестве — или «совражестве» — мчащихся к неоткрытой звезде. Вряд ли стоит попадать в плен столь мрачных прогнозов. Но тем не менее проблема психологической совместимости существует, никуда от нее не денешься.

Люди имели с ней дело издавна. Она вставала в грозной своей прямоте перед поморами, зимо-



Тур Хейердал.

вавшими на Груманте, перед моряками «Фрама» и «Святого Фоки», перед исследователями Арктики и Антарктики. С ней сталкивались — и сталкиваются — работники высокогорных метеостанций, геологи, экипажи подводных лодок — все те, кто обязан исполнять свой долг в отрыве от усредненного мира.

А предметом научного изучения совместимость стала всего с десятком лет назад. И понятен энтузиазм моих друзей-психологов, провожавших меня на «Ра»: восемь человек, папирусное судно и океан — вот это эксперимент!

Словно по заказу тех же психологов, обстоятельства позаботились о том, чтобы эксперимент дополнительно усложнился. Не просто семеро¹, а семеро, оказавшихся вместе случайно. Попробую это объяснить и доказать.

В республике Чад строится пробная папирусная лодка. Мастерят ее два брата, африканцы племени будума, Омар и Муса. Братья не говорят ни на одном из европейских языков, и потому общаться с ними Хейердалу затруднительно, а тут же вьется их соплеменник, безработный плотник, он говорит по-французски, и когда мастерам пора ехать в Египет, Хейердал приглашает не двоих, а троих. Ни о каком плавании для плотника речи нет, плыть с нами должен Омар — «прораб», но вскоре выясняется, что Омар болен, и веселый мышсленный переводчик занимает его место. Так в экипаже «Ра-1» появляется Абдулла Джибрин.

Строительство «Ра» продолжается: среди многих добровольцев-помощников на стапеле трудятся египтянин Жорж Сорнал, приятель приятеля Тура Бруно Вайлати. «Приятель приятеля» — да, точнее их отношения с Туром не определишь. Жорж мечется на «джипе» по Каиру, достает канаты, организует закупку хлеба, следит за изготовлением паруса. Он разрывается между министерством туризма, поставщиками, институтами, строительной площадкой — и делает все это совершенно бескорыстно, для него подготовка «Ра» в дорогу — уже приключение. И вот настает вечер после особенно хлопотного

дня, а завтра ожидается день не менее сложный, и вдруг Тур говорит Сорналу:

— Шел бы ты отдохнуть. Я не хочу, чтобы участник экспедиции переутомлялся.

Жорж изумленно разевает рот — и подписывает контракт.

С Сантьяго еще неожиданной. Тур знал, что в Мексике есть такой ученый, однако членом экипажа он не являлся, пока в его квартире не раздался телефонный звонок: «Послезавтра жду в Касабланке». Оказалось, что Сантьяго, сам того не зная, был дублером Рамона Браво, подводника, фотографа и кинооператора, и надо же случиться: Рамон Браво чуть не накануне отплытия лег на тяжелую операцию.

Уже упомянутый Бруно Вайлати тоже должен был плыть с нами; Вайлати, кинопродюсер, оператор и ныряльщик, был одним из первых, с кем Тур договорился об участии в экспедиции. Но Вайлати не отпускали дела, и тогда он порекомендовал вместо себя известного журналиста и еще более известного альпиниста Карло Маури. Так что и Карло пришел «по замене».

Вплоть до последних дней Тур, можно сказать, не знал, кто с ним поплывет. Ситуация, казалось бы, невыносимая в практике подготовки подобных мероприятий!

Но Тур несколько этим не смущался. И не скрывал, что такой разгул случайностей как раз удачно служит его планам.

Он ведь поставил себе задачей исходить не из лабораторных, а из житейских обстоятельств. И сознательно не желал ничего искусственно организовывать и предвосхищать.

Он пошел еще дальше. Решил собрать на борту «Ра» представителей различных рас, приверженцев различных, очень несходных мировоззрений и продемонстрировать таким образом, что людям на земном шаре, если они зададутся общей, одинаково важной для всех целью, вполне можно конструктивно договориться по любому вопросу.

Наши первые дни в Каире и особенно в Сафи сложились так, что каждым часом, каждой секундой своей, казалось, убедительно подтверждали Турову правоту.

Все семеро договорились моментально; потаскали связки папируса, посвящали канаты и собрались в гостинице поужинать как следует, выпили водки, закусили икрой — и вот уже нам чудилось, что мы знакомы давным-давно, что ни на одном судне за

всю историю мореплавателей не было такого дружного, жизнерадостного экипажа.

И, конечно, мы ошибались, думая, что знакомство состоялось. Напротив, оно едва начиналось, нам еще предстояло выяснить, что же нас объединяет, а пока что нас объединяла, во-первых, радость по поводу того, что участвуем в увлекательнейшем путешествии, и, во-вторых, сам Тур.

Хейердал и формально был нашим общим руководителем, шефом, командиром и капитаном. Но, кроме того, от него к каждому тянулись самые разнообразные нити. Норман видел его однажды на Таити, а Сантьяго в Москве. Для Карло он был авторитетным ученым.

Абдулла на Тура чуть не молился: сколько чудес он, Абдулла, увидит, он поплывет по морю, которое, оказывается, все соленое, и посмотрит на китов, немножко похожих на бегемотов, и будет богатым, уважаемым, и все это благодаря Туру, благодаря его странной идее покататься по океану, как по озеру Чад!

Жорж, много слышавший о Туре от Бруно Вайлати, страшно гордился тем, что нежданно-негаданно стал членом экипажа «Ра». Но не ронял собственного достоинства и при случае старался показать «этому норвежцу», что и египтяне не лыком шиты. Лез в огонь и воду, без усталости нырял, таскал, привязывал, грузил — и косил глазом в сторону Тура, и расцветал от его похвалы.

Я тоже был очарован Туром.

Мне казалось непостижимым, что работа рядом с человеком, чей бальсовый плотик многие годы стоял в моем сознании на гребне гигантской, похожей на перевернутую запятую волны. Человек с книжных обложек, с газетных полос сеньор Кон-Тики, мистер Аку-Аку — он топал босиком по палубе полуготового «Ра», возился с ящиками, мешками и пакетами, поглядывал, иронически хмыкал, скрывался в свой сарайчик постучать на машинке. Ощущение нереальности происходящего не покидало меня.

Общую атмосферу, царившую в наших отношениях, можно было назвать фестивальной.

Наше «ты», на которое мы сразу легко перешли, было экзальтированно подчеркнутое: мы уставали, были грязны, обливались потом — и все равно чувствовали себя как на празднике, где каждый старается показать себя с наилучшей стороны.

Забавно сейчас прочесть запись, сделанную мной 27 мая 1969 го-

¹ Одно место на «Ра-1» так и осталось свободным. Экипаж «Ра-2» состоял из восьми человек: был приглашен японский кинооператор Кей Охара. А вместо Абдуллы Джибрина плыл марокканец Мадани Айт Охана, химик по специальности, занимавшийся проблемой загрязненности океана. — Ю. С.

да, на второй день плавания на «Ра-1»:

«...Тур очень сдержан, спокоен внешне. Но видно — очень устал. Несмотря на это, вахту распределил так: 20.00—22.00 — Абдулла; 22.00 — 24.00 — Карло; 00.00 — 02.00 — Юрий; 02.00 — 04.00 — Жорж; 04.00 — 07.00 — Тур.

Постараюсь его обмануть, подниму Сориала в три, пусть стоит до пяти».

То есть Тур в связи с болезнью Сантьяго и Нормана взял себе лишний час вахты, а я намеревался с помощью нехитрой уловки этот час у него отобрать. Желание похвальное, но с какой невероятной серьезностью я его обдумывал, как торжественно записывал о нем в дневник! Определенно я весьма себе нравился в эти минуты. Я видел себя со стороны: врач из Москвы с первых же суток своего пребывания на борту «Ра» повел себя самоотверженно и деликатно, продемонстрировав, что...

Стоп, достаточно. Спустя двести недели врач из Москвы нахально опаздывал принять у того же Тура вахту, он распустился до того, что сетовал:

«...Туру легче, он выбирает себе для дежурства утренние часы, когда светает и можно свободно писать, а я, бедный, мучаюсь при свете керосиновой лампы».

Что делать, житейские наши слабости понемногу овладевали нами, из святых мы снова превращались в обыкновенных...

Начальные страницы моего дневника сплошь в восклицательных знаках: тот хороший парень, и этот отличный парень, и пациенты мои выздоравливают, и мы с Жоржем завтра начнем заниматься русским языком, и если Норман на меня накричал, так я сам виноват, что не владею морской терминологией, Абдуллу же необходимо просто немедленно рекомендовать к приему в Университет имени Лумумбы.

Видимо, похожие чувства испытывали и мои товарищи.

Мы еще не успели распрощаться с портом Сафи, а Жорж Сориал (смотри о нем в дневнике: «Умница! Забавник! Весельчак! Балагур! Полиглот!») уже предложил мне будущим летом отправиться с ним вместе в такое же плавание, тоже на лодке из папируса, но меньших размеров.

Я спросил его: «Зачем?» — «Просто так, ведь я бродяга». Глаза его блестели, настроение было безоблачным, доверие ко мне — безграничным. Обстановка, сложившаяся на корабле, устраивала его как нельзя более.

Однако очень скоро выяснилось, что на «Ра» не только тянут шкоты, но и моют посуду.

Как-то утром Тур попросил меня разбудить Жоржа (он спал после вахты) и напомнить ему, что сегодня его очередь убирать на кухне. Я попытался было это сделать, но Жорж, едва открыв глаза, сказал: «Я устал!» — и повернулся на другой бок. Пришлось доложить об этом Туру, неприятно, а куда денешься?

Тур разгневался:

— Начинается! Не привык рано вставать!

Я тихонько пошел по своим делам, а через некоторое время на кухню приплелся Жорж и грустно занялся кастрюльками и поварами. А через два-три часа сломалось очередное рулевое весло, нас закурило, все засуетились — и положение спас тот же Жорж, сто двадцать минут он удерживал «Ра» обломком весла, которое плясало и дергалось у него в руках, грозило раскроить голову, а он бросался на него всем телом, как на амбразуру, и уж, конечно, ему приходилось потрудней, чем на камбузе, но он этому только радовался, он опять был в своей стихии. Вот теперь то мы и начинали всерьез друг с другом знакомиться.

Выяснилось, что Норман любит покомандовать, а Жорж — поострить по поводу его команд, что Карло предпочитает работать без помощников, а Сантьяго, наоборот, без помощников не может.

Дольше всех оставался загадкой Абдулла. Я, впрочем, так до конца его и не разгадал. Это был человек мгновенно меняющихся настроений. То хмурится, то поет и смеется; предсказать, как он ответит, например, на предложение почистить картошку, совершенно невозможно: то ли обрадуется, то ли вообразит, что его дискриминируют как чернокожего (!) — да-да, случалось с ним и такое!

В те дни я записывал:

«...Измучил своим приемником, слушает заунывные мелодии и наслаждается, а нам хоть на стенку лезь».

Это уже давали себя знать те самые пресловутые «зазубринки» несходства наших вкусов.

Что ж, я не был вне эксперимента, я был, как и остальные, внутри его, на меня тоже действовали экстремальные обстоятельства. Норман, опять изругавший меня — на сей раз за опоздание к завтраку, — безусловно, имел основания сердиться, а я почему-то считал, что сердиться



Сантьяго Хеновес.

должен не он, а я. То же самое с приемником Абдуллы: для бедного парня напевы родины остались чуть не единственным прибежищем, он ведь не мог почти ни с кем из нас в полную меру общаться — не вмешивался в наши беседы, не смеялся нашим шуткам, — ему зачастую только и оставалось что прижимать к уху транзистор, и на этот несчастный транзистор я смел хотя бы мысленно ополчиться!

Снова должен подчеркнуть: Тур, тактичный среди нас, великолепно понимал сложность положения Абдуллы на борту «Ра». Он относился к африканцу очень внимательно, всегда был настроен, готовый смягчить ситуацию и сгладить углы.

Тур просил Жоржа — единственного, кто вполне имел такую возможность, — чаще разговаривать с Абдуллой по-арабски, чтобы тому не было одиноко и тоскливо. Жорж принялся учить Абдуллу читать; ученик брал уроки с наслаждением, это развлекало и его, и Жоржа, что тоже было немаловажно.

Однажды вечером, к концу первой недели пути, я сидел на «завалинке» у входа в каюту. Ко мне подсел скучный Сантьяго.

— Ты чего, Санти? Заболел?

— Я не болен. Я расстроен. На лодке нет кооперации и сотрудничества, и я намерен объявить об этом всем.

— Да брось ты! Подумаешь, с Карло поругался!

Дело, конечно, не в пустяковой стычке, о которой оба тут же забыли. Просто Сантьяго, человек тонкий и ранимый, раньше других почувствовал: кончается наш фестиваль.

Наверно, здорово было бы два месяца плавания прожить в атмосфере взаимных расшаркиваний, меняясь значками и скандируя «друж-ба», «друж-ба».

Прошел день-два, и не Сантьяго уже, а Жорж принялся изливать душу: Тур сделал ошибку, укомплектовав экипаж людьми разного возраста.

— Жорж, но ведь больше всех отличаешься от Тура по возрасту как раз ты! Значит, ты и есть прежде всего ошибка?!

Он заулыбался и отшутился, но видно было, что у него на сердце скребут кошки. У него, как и у Сантьяго, наступил кризис: плакатные Представители Наций и Континентов превращались в конкретных соседей по спальному мешку.

...Раннее утро на «Ра-1». Проснулись, поели, разошлись по местам. Я устроился на корме, облюбовал веревочку, прицепил к ней зеркальце, бреюсь.

А Карло стоит на мостике и нетерпеливо мнется.

— Ты ведь завтракал, Карло? — Нет, только кофе.

Надо же! Бедный Карло приготовил завтрак, пошел подменить вахтенного, и на тебе! Глогает слюнки и глядит, как другие изволят наводить шик-блеск. Могло ли такое случиться еще неделю назад? Исключено совершенно. Случится ли впрямь такое? Не зарекаюсь, весьма вероятно, да. Эпоха преувеличенного энтузиазма кончилась; сеньор Маури для меня свой, привычный, домашний Карло, точно так же и мистер Бейкер, и месье Сорнал — какие они здесь месье и мистеры? Есть семеро очень разных людей, каждый из которых в меру сил приспосабливается к остальным.

Чем бы Тур ни занимался, за ним всегда тенью бредет его верный Санчо Панса, Карло. Если Тур столярничает, Карло подает инструменты, если Тур собирается снимать, Карло кропотливо чистит его кинокамеру, если Тур просит: «Принесите из кабины мои носки» (это, кстати, уникальные носки, связанные Ивон, толщиной с палец — Тур носит их вместо тапочек), первым откликается на просьбу опять же Карло.

Тут нет льстивой услужливости, Карло не зарабатывает себе никаких выгод — напротив, Тур тербит его чаще, чем других. Просто Карло глубоко и преданно любит Тура, и Тур платит ему тем же, и взаимоотношения их — образец дружбы, в которой один ненавязчиво главенствует, а другой готовно подчиняется.

О шестестве Тура над Абдуллой я уже упоминал; для африканца

Тур — и командир, и покровитель, и вообще чуть не единственный свет в окошке. Такое положение обоих устраивает — помогает Туру руководить Абдуллой, а плотнику с озера Чад скрашивает превратности походного житья-бытья.

Вот таким образом первая устойчивая подгруппа на борту «Ра»: Тур, Карло, Абдулла.

Теперь о Нормане. Он держится несколько особняком. Его штурманские и особенно радистские обязанности требуют сосредоточенности и одиночества. Многие часы просиживает он в наушниках в полутемной кабине, но зато может вдоволь поговорить с женой, с детьми, с друзьями. Он гораздо меньше остальных чувствует оторванность от внешнего мира, и это обстоятельство несколько компенсирует его прочим членам экипажа, все мы ему слегка завидуем. Кроме того, Норман чересчур педантичен и дотошен. Если он позывает тебя готовить к подъему парус, не жди, что скоро освободишься, параллельно придется переделывать еще тысячу дел, и вдруг окажется, что вместо канатов ты уже разбираешь кухонную утварь.

Норман убежден, что он самый главный морской знаток на «Ра», — безусловно, так оно и есть, но люди не любят, когда кто-то подчеркивает свое превосходство по всякому поводу, а потом, где бы и куда бы Норман ни плывал, на папирусной лодке он идет впервые, и в этом смысле опыт у нас у всех одинаковый.

При всем том он умница, трудяга, за резкостью прячет застенчивость, за безапелляционностью — ранимость. Во втором плавании многие, в их числе и я, стану с ним добрыми приятелями, а пока что он склонен общаться по-дружески только с Туром.

Следовательно, вот второе устойчивое сочетание: Норман — Тур.

Остаются трое — Жорж, Сантьяго, я.

Кто знает, с чего мы потянулись друг к другу? Возможно, не последнюю скрипку сыграл возраст: молодость — бесспорная у Жоржа, относительная у меня, а что касается Сантьяго, так он, несмотря на свои сорок пять, славный парень, именно парень, иначе его не назовешь, экспансивный и деятельный.

Когда они с Жоржем режутся в покер, не поймешь, кто старше, кто младше. Игра идет на часы вахты. Очередной взрыв хохота с

повизгиваньем — это Жорж выиграл еще десять минут. На устах Сантьяго виноватая улыбка.

— Что же ты, профессор, доктор наук?

Словно сговорившись, они хлопают друг друга по спине и лезут назад в хижину.

— Реванш! — кричат они, однако почти сразу становится ясно, что реванша не будет: Жорж опять хохочет очень весело. Сантьяго проиграл ему полную вахту. Жорж радуется и предлагает каждому: «Хочешь, подарю час? У меня много!» На работе они тоже похожи: с азартом включаются и быстро охлаждаются.

Мы сдружились за время совместных перетасовок-перегрузок и в свободную минуту стараемся быть вместе: разляжемся на крыше хижины или на носу и беседуем, и шутим наперебой. Забредет кто-нибудь, привлеченный жизнерадостными возгласами.

— А что это вы здесь делаете?

— Дуем в парус! Давай с нами!..

Вот вам третье сообщество: Сантьяго, я, Жорж и Тур, разумеется, конечно же, Тур.

Обратите внимание: на «Ра» — три подгруппы, более или менее обособленные, и в каждую из них входит Тур.

Повезло нам с лидером.

Вернешься с вечерней вахты, мокрый, продрогший, — ужин давно кончился, на кухне пусто и тихо — нет, чья-то фигура шевелится, это Тур не пошел спать, ждет, приветствует, наливает фруктового супа, ухаживает, как за малым ребенком, с готовностью смеется твоим натужным острогам, сам ответно шутит: «Если через неделю не потеплее, я съем свою шляпу!»

Порой в коллективе случается так, что лидерство официальное и фактическое не совпадает, не объединяется в одном лице. Есть сухарь директор, а есть душка главный инженер, так сказать, новатор и консерватор. Или — еще хуже — оба лидера мнимых, и оба борются за признание: один — мытьем, другой — катаньем, тот — выговорами, этот — сабантуями в служебном кабинете, и каждый при случае не прочь шепотом пожаловаться, разводя руками: «Будь моя власть, разве так бы у нас было?!»

Тур — иной. Авторитет его не дутый, и, что не менее важно, он этим авторитетом не кичится. Его можно (не пробовал, правда) хлопнуть по плечу, вахты он стоит наравне со всеми, за тя-

желенное бревно берется без приглашения. В сущности, большую часть времени он никакой не капитан, а матрос, корабельный чернорабочий, как любой из нас, — этого требуют обстоятельства, экипаж малочислен, без совмещения обязанностей не обойтись, — но я знавал людей, которые в сходных ситуациях быстро превратились бы в этаких рубах-парней, утративших право и желание распоряжаться.

Тур, повторяю, иной. Демократизм его не бесхребетен. Переход от Хейердала-матроса к Хейердалу-капитану совершается естественно и обоснованно.

Солнце садится; Жорж решил испробовать клев и продефилировал на корму со своими удочками. Никто его надежд всерьез не воспринимает, сколько раз уже он шествовал туда торжественно, а оттуда возвращался тишком! Но сегодня определенно рак свистнул и турысы на колесах приехали — не успеваем охнуть, как на крючке у Жоржа корифена.

Прыгаю на мостике вне себя от восторга. Карло одобрительно крикает, Сантьяго исходит белой завистью, всеобщее ликование, но заразительней всех, азартней всех радуется и восхищается Жоржем Тур.

Жорж на седьмом небе, начинает, что называется, «выступать» — напрягает мускулы, принимает культуристские позы, картинно забрасывает удочку — хлоп! Еще рыба. Хлоп! Еще одна, под бурю аплодисментов.

— Последнюю, и хватит, — предупреждает Тур, теперь уже как старший товарищ, у которого за плечами опыт «Кон-Тики». — В этой зоне мы сможем ловить сколько захотим и не должны жадничать.

— О'кей, — соглашается Жорж и вытаскивает четвертую. Потрясающий улов, сказочное богатство!

Прошу Тура послать кого-нибудь подменить меня на мостике, чтобы я мог почистить рыбу.

— Нет, — неожиданно твердо отвечает Тур-педагог, вовсе не заинтересованный в том, чтобы Жорж — и без того баловень — почил на лаврах. — Рыбу будет чистить тот, кто ее поймал.

Жорж снимает и плетется со своим уловом на кухню. Потом он поплачется мне: Тур несправедлив, Тур придирчив и необъективен, и вообще все идет не так, как надо, и, вконец разобитый, заведет: «Я устал, у меня бессонница, радикулит, нет сил терпеть, дай мне морфий» —

и в конце концов вынудит сообщить Туру, что Жоржа опять следует освободить от вахты.

— Хорошо, — примет решение Тур-капитан. — Его вахту отстою я.

Он великодушен и гибок, не мелочится, не встречает в пустяковые конфликты. Но, когда требуется, умеет настоять на своем.

Взять хотя бы историю со спасательным плотом.

Спасательный плот «Ра-1» представлял собой квадратную пенопластовую основу, обтянутую водонепроницаемой тканью. Внутри — емкость для аварийного запаса воды, пищи и для рации, а также тент. Общий вес — чуть больше ста килограммов.

Размещался он под капитанским мостиком. Вскоре после начала плавания мостик, оседая, придавил плот, так что воспользоваться им в случае экстренной необходимости стало бы невозможно. Мы убедились в этом, когда на двадцать пятый — двадцать шестой день путешествия принялись облегчать уже основательно притопленную корму: подступились к плоту, а он не вылезает. Отпилили кусок пластикового покрытия, укоротили, сузили, подрубили и расшатали все, что могли, а плот ни с места. Он не желал расставаться с мостиком, ему там, в щели, было уютно, и мы после многих попыток сыграли отбой, полагая, что завтра то ли сами будем сильнее, то ли плот поклядистее.

Следующий день наступил для меня позже обычного, я отстоял рассветную, довольно хлопотную вахту, чувствовал себя неважно и с облегчением завалился спать. Меня не будили. Поднимаюсь, смотрю — уже десять утра, на корме Тур, Сантьяго и Карло оживленно спорят по-итальянски. Я спросил Сантьяго, что решено делать с плотом.

— Есть идея разрезать плот на части и сделать из него кормовую палубу.

Вот это да! Уничтожить наш спасательный шанс, притом единственный!

— Сантьяго, сеньор профессор, а если ураган, шторм, если корабль переломится, что тогда?!

Это не умещалось у меня в голове — наш плот, который уже почти месяц служил нам психологической опорой, амулетом от всяких бед, и не только нам, но и нашим близким — и вдруг его уничтожить...

— У меня есть возражения, — сказал я. — Первое: плот может понадобиться. Второе: что скажут наши оппоненты? Древние



Жорж Сориал.

мореплаватели не пользовались пенопластом! Уж скорей мы могли бы строить палубу из пустых канистр!

Жорж проснулся, прислушался, сообразил, что к чему, и перебил меня тирадой сходного содержания, но гораздо более эмоционально насыщенной. Нет, он тоже не хотел ломать спасательный плот!

И тут вмешался молчавший до этого Тур: «Что касается оппонентов — да, древние пенопласта не имели! Но они имели большее — опыт строительства подобных лодок. Наш «Ра» — эксперимент, и не совсем удачный: если бы пришлось строить второй корабль, мы не повторили бы ошибок. А пока что доказано главное: папирус — отличный плавучий материал, кривая его водонасыщения идет круто вверх первые пять дней, затем становится пологой и потом практически вовсе не поднимается. То же самое и с прочностью на излом. 26 дней мы непрерывно сгибаемся и выпрямляемся — и ничего; сталь бы не выдержала, а мы плывем. О каких же угрожающих неожиданностях вы изволите говорить?»

Вы видите опасность не с той стороны, думаете о какой-то вообще Опасности, сами не сознавая, что, может быть, как раз в это время подвергаете себя реальному риску.

Я почти ежедневно предупреждаю о постоянном обязательном ношении страховочных концов. Но некоторые, не буду называть кто, ибо в их числе побывали почти все, упорно об этом забывают. Между тем это опасность номер один. Мы не сможем спасти человека, упавшего за борт. «Ра» не имеет заднего хода и не обладает маневренностью.

Вторая опасность — пожар. Я регулярно нахожу по утрам на

палубе спички, сгоревшие и целые. Если неиспользованная спичка попадет между ящиками, она от трения может самовоспламениться. Вновь прошу курильщиков быть осторожнее!

Третья опасность — столкновение с другим судном. Опять-таки здесь все зависит от нас самих. Не только вахтенный на мостике, но и те, кто внизу, должны поглядывать вокруг, каждую минуту помнить, что мы не одни в океане.

Наконец, четвертое — шторм и ураганы. Да, это очень опасно, но у нас радиосвязь, о приближении шторма или урагана нас предупредят, мы успеем подготовиться. «Ра», как сказано, не может утонуть, сломаться тоже. Кабина укреплена надежно, веревки проходят сквозь толщу корпуса. Мачта? Если убрать парус, то она, пожалуй, выдержит.

Кроме того, прошу понять, мы ведь не выбрасываем спасательный плот, мы только разрежем его и примонтируем к папирусу на корме, то есть плот останется... лишь (Тур улыбнулся) в несколько измененном виде.

И последнее. Вариант с плотом отнюдь не навязывается, он предлагается в порядке обсуждения, и любой из вас имеет право «вето». Хотя я должен подчеркнуть, что плот вообще взят мной только для спокойствия семей экипажа, он на борту лишний и бесполезный, я не собирался его брать. Все».

Длинная эта речь приведена почти дословно. Разумеется, Тур победил. Состоялся поименный опрос, первым отвечал Норман, он поведал три случая из своей мореходной практики, когда оказывался на краю гибели, и проголосовал за разрушение плота. Остальные его поддержали, я тоже согласился, переубежденный, без тени сомнения.

И мы продолжали свой путь, зная, что отныне нам с палубы «Ра» пересесть не на что, — с хрупкими веслами, с обвисшей кормой, наваливаясь при авралах сообща и уходя в себя в минуты грусти. Но даже когда кое-кому из нас казалось, что с «дружбой и кооперацией» на «Ра-1» дела из рук вон плохи, центростремительные силы в нашем коллективе все равно были гораздо мощнее центробежных.

Что объединяло нас? Конечно, прежде всего единство цели.

В начале плавания присловье «как у древних» было излюбленной остротой матросов «Ра-1». Мы употребляли его к месту и

не к месту, как бы подтрунивая над собой.

У Тура, мол, свои интересы, он ученый, ну а нас высокие материи не занимают, нам просто выпал случай поплавать, испытать приключения — кто откажется от этого?

Однако проходили дни, и мы с удивлением обнаруживали, что проблемы доколумбовых рейсов через Атлантику все больше занимают наши мысли, что мы вновь возвращаемся к ним в беседах, и мобилизуем познания, и спорим до хрипоты, какие лопасти весел были на старинных судах, прямоугольные или овальные, и останавливались древние мореплаватели на Канарах, чтобы подсушить папирус, или нет. В конце концов, апелляция к древним стала для нас ежечасной, привычной и естественной.

Уже не вызывало сомнений, что благополучно пересечь океан — отнюдь не только залог нашего личного благополучия, но и вопрос торжества идеи, которую мы все разделяем; да, это уже была наша общая идея. На «Ра-1» был не один энтузиаст-этнограф, нас было семеро.

И опять нельзя не отметить, как благотворно воздействовал на нас в этом смысле Тур. Он не тянул нас на аркане в свою веру: он жил на борту «Ра» так, как привык, — увлеченно, не пряча пристрастий, свято убежденный, что дело, которым он занят, самое необходимое и самое интересное. От него словно исходили токи научного подвижничества, и как же он радовался, замечая в нас все больший отклик!

Он с готовностью отзывался на любой повод поговорить о трансатлантических связях, сам непрестанно заводил о них речь, вступал в наши споры и дискутировал на равных, не потешаясь над нашим дилетантством, над ложными предпосылками и поспешными выводами, он видел в нас единомышленников еще до того, как мы ими полностью стали, верил в нас авансом — и не обманулся в ожиданиях.

После того как кончилось первое плавание, перелистывая исписанные страницы своего дневника, я не раз думал: какие мы все на «Ра-1» были разные!

Сверхобщительный Жорж — и замкнутый Норман; конформный Сантьяго и не умеющий приспособливаться Карло; день и ночь, земля и небо, вода и камень, стихи и проза, лед и пламень сошлись на борту «Ра»!

Это было похоже на то, как

альпинист, закончив траверс, оглядывается — и у него подгибаются колени: над какой жуткой пропастью он только что шел. Мы же могли вдрызг перещарпаться, осточертеть друг другу, возненавидеть сотоварищей и самих себя! А мы гуляли по Барбадосу в обнимку, и нам совсем не хотелось расставаться — настолько не хотелось, что мы с трудом представляли себе, как теперь будем жить без нашего общего «Ра». Такими веселыми, такими дружными были мы все в ту осень! И Тур с чистой душой написал поперек сувенирного снимка: «У меня лучший в мире экипаж!»

Видимо, сумма психофизиологических свойств еще не исчерпывает сути человека. Не арифметикой тут пахнет, а алгеброй. Слабый становится сильным, робкий — отважным, обидчивый — великодушным, если ими движет единая достойная цель.

Лодку шатает, и писать довольно трудно, ветер веселый, полусфера изрядно выгоревшего уже паруса туго надута.

Сегодня пройдено 63 мили, совсем неплохо, и вообще все неплохо, только холодно, а ночью и по утрам еще и влажно, выбираться из мешка совершенно не хочется. Попросить, что ли, Нормана изменить чуть-чуть курс и пойти южнее?

Он хихикнет в ответ: «Маньяна!»

Маньяна, с легкой руки Сантьяго, сейчас любимое наше слово. Бифштекс съесть — маньяна, с девочкой пройтись — маньяна, обсохнуть — маньяна. Маньяна по-испански — завтра, но с оттенком нашего «после дождичка в четверг».

— Юрий, как насчет того, чтобы повозиться с брезентом?

— Маньяна...

Маньяна не маньяна, а нужно идти. Карло и Жорж, бодрые после сна, потащили на корму бывший запасной парус. Он теперь располован, и мы укрепляем его по правому борту вдоль хижины, строим заслон от волн, потому что заливает и захлестывает нас по-прежнему основательно.

Но не сами волны опасны, им нас не перевернуть и не потопить — опасно их соприкосновение с папирусом. Папирус для них ловушка, копилка — что впиталось, то уже навсегда. «Ра» не выжмешь, как губку, не выкрутишь, как мокрую тряпку.

Теперь волны, перехлестывая через борт, не идут вниз, под хижину, а отражаются от нашей «баррикады» и скатываются назад, в океан. Мера определенно эффективная, надо возвести заслон и с кормы, и с носа — отгородиться от океана везде, где можно.

А в общем у нас в порядке и такелаж, и корпус, и весла, ничего не сломалось ни разу.

...Корма «Ра-1» была оедствием. Она с самого начала повела себя не по совести, прогибалась, обвисала и в конце концов потащилась за нами, как полоторванная подметка, мешая двигаться и грозя отломиться.

И тогда Тур объявил, что у него есть план («планов полно, а идем на дно» — приписано в моем дневнике), как приподнять корму: протянуть с нее канаты на нос и подтягивать понемногу, постепенно, каждый день.

Приступили к работам, подготовительным, весьма кропотливым. Карло и Сантьяго долго-долго отбирали длинные крепкие веревки, крепили их на носу и проводили к корме. Абдулла не менее долго сверлил в вертикальных стойках мостика дыры. Веревки были продеты в эти дыры и двумя петлями закреплены на поперечном брусике, опять же после долгих-долгих трудов.

Стали тянуть по-бурлацки, «раз-два — взяли» — и заметили, что стойка мостика прогнулась, трещит и сейчас сломается.

Бросили корму, взялись за мостик. Укрепили его противотягами. Покачали, потрясли — крепко. Опять взялись за канаты — «Еще раз — взяли!»

— Пошла!!!

Кончик кормы, самый кончик, зашевелился. Тур торжествовал, я — как заметивший это — до ночи ходил у него в любимчиках, был обласкан и расхвален, но раз-за три Тур спросил меня по секрету:

— Ты вправду видел или тебе показалось?

А Сантьяго сложил из бумажного листка кораблик — по знакомой детям всего мира схеме — продел, где надо, ниточку и продемонстрировал наглядно, на модели, что ничего с подъемом кормы не получится, это все равно что тянуть себя из воды за ухо. Чем выше корма, тем ниже центр, мы просто как складываемся на манер перочинного ножика.

Бумажный кораблик не убедил Тура. Назавтра Карло залил по мостику, увешанный новыми веревками, затем они с Туром принялись тянуть, и опять корма

слегка приподнялась, но что пользы-то? Что могли дать отвоеванные у воды жалкие сантиметры? Тем более что волны, отступая в одном месте, брали реванш в другом: у подножия мачты возникла лужица...

Но Тур не жалел усилий: вопреки очевидному, он не сдавался именно затем, чтобы не сдаваться. Всякая деятельность заразительна, вон уже экипаж приободрился, экипаж берет с капитана пример: Абдулла и Жорж вернулись к папирусным связкам для надстройки бортов, Карло, опуганный канатами, единобогоствует с ними, как Лаокоон...

Идем хорошо, ветер достаточно сильный, океан умеренный. Несколько уклонились к югу и держим 260° зойд-вест.

Вот, пожалуй, и все... Нет, не все — день-то какой сегодня знаменательный! Прошел первый месяц плавания — и пройдена первая половина пути.

Хорошо помню этот день в прошлом году.

Жорж повесил на стенку хижины со стороны камбуза табличку, на которой в окружении всяческих алгебраических и химических формул значилось что-то вроде «Карлушин ристаран». Мы собрались в «ристаране» принаряженные. Открыли шампанское. Пили, пели, шутили, Жорж превосходил себя — Тур даже пообещал, что пошлет его матери хвалебную радиogramму. Карло снимал всех на пленку, потом они с Туром поменялись местами, и Тур снимал его и нас. Было весело, тепло и уютно.

Нынче настроение другое и погода другая. Солнца почти нет, очень влажно и душно, шевелиться неохота. Но Сантьяго все же пошевелился, извлек из заглашника две бутылки шампанского. Жорж подвесил их на мачте, чтобы на ветерке охладиться.

Сходились и рассаживались, готовые поддерживать традицию, но должного тонуса не было, что-то словно висело над всеми: то ли усталость, то ли вообще стали мы, черт возьми, старше и равнодушнее, и на смену прошлогоднему энтузиазму пришла привычка; в самом деле, мы уже ощущали себя не первопроходцами, а чуть-чуть рейсовиками, не поэтами, а ремесленниками океана...

А тут еще Сантьяго окликнул Жоржа писклявым, якобы женским голосом, он и раньше не раз так шутил, поддразнивал, но сегодня Жорж взорвался — и разразился скандал.



Норман Бейкер.

Не буду его описывать, не стану воспроизводить нашу более чем часовую дискуссию — она касалась распорядка вахт, помощи в мытье посуды, отлынивания и, наоборот, высакиванья перед батьки, оказыванья к трапезам и любви к чужим полотенцам, это был отличный интернациональный хай, в котором итальянская экспансивность удачно сочеталась с мексиканским ядом, американскую же прямолинейность выгодно оттенял русский фольклор.

Веселливый Кей только глазами хлопал, Мадани, отчаявшись хоть что-то понять, сжался в комочек, а бледный Тур кусал губы.

Я на его месте давно бы стукнул по столу, но он не вмешивался, давал нам выкрикаться. Впервые мы так «беседовали» друг с другом. И когда, казалось, на палубе «Ра» вот-вот должны были замелькать кулаки, вдруг все умолкло.

Вдруг открылось, всем сразу и каждому в отдельности, на какую дрянную мелочь — на окурки, на грязные тарелки — мы размениваем нашу экспедицию, нашу мужскую общность, возникшую в суровой работе.

Каждый взглянул на соседа, усмехнулся несмело и смущенно, и вдруг грянул хохот.

Сантьяго привалился к плечу Карло, Норман шутиливо ткнул меня под микитки, Жорж кошкой вскарабкался на мачту за шампанским, и на «Ра-2» начался пир!

Мы разошлись только в два часа ночи, случай вообще неслыханный в обоих плаваниях, — пили, ели, опять пили и говорили, говорили, будто встретились после долгой разлуки. Да так, в общем, оно и было. Рухнули перегородки, разделявшие нас, встали точки над «i», определились отношения, и праздник, нелепо и неприятно начавшийся, преподнес нам действительно драгоценный сюрприз.

Вахтенные улыбались в ту ночь, и долго-долго посреди Атлантики, под огромной луной, на хлипком травяном острове звучала губная гармоника Нормана...

Окончание следует

И. ГОРЕЛОВ

«УЛЬТРА»—



СЛЕВА

И

СПРАВА



1969 год. Милан, пасмурный день пятницы 12 декабря. К темно-зеленому такси, за рулем которого сидит его хозяин Корнелио Роланди, в 16.00 подходит человек. «Отвезите на улицу Санта Текла», — говорит он спокойным голосом. Шофер оборачивается. За спиной он видит молодого, лет тридцати пяти, человека в неброском сером костюме. «Вообще-то Санта Текла в двух шагах отсюда», — предупреждает он. «Я в курсе, — отвечает пассажир, — но у меня мало времени. Потом я поеду дальше».

Завернув за угол, машина пересекает площадь Фонтана и, проехав по переулку, сворачивает на Санта Теклу. Пассажир, попросив подождать несколько минут, выходит и быстро скрывается за углом, который они только что миновали. «Странный народ, — философски пожимает плечами Роланди, профессиональным взглядом провожая фигуру пассажира, — не сбежит ли?.. Не должен, — заключает Роланди, — человек, похоже, серьезный».

Пассажир возвращается в 16.08 — без черного кожаного портфеля, с которым он ушел. Лицо его теперь кажется шоферу взволнованным. Через четыре минуты пассажир останавливает такси и высаживается, заплатив 600 лир. Роланди вскоре уезжает с новым клиентом...

Те, кто первым после взрыва вбежал в помещение Сельскохозяйственного банка, расположенного на площади Фонтана, застали следующую картину. Обширный круглый зал для посетителей усеян обломками колонн, кусками штукатурки, завален бумагами. Сквозь облако густой пыли слышатся стоны раненых. Большие часы застыли на 16.37. В обычные дни окошечки банка к этому времени закрываются, но пятница — традиционный день сделок фермеров и закупщиков, банк работает позже. И в этот день там, как всегда, была довольно большая толпа. Начинается подсчет пострадавших. Погибших вместе с теми, кто умрет позже в боль-

Выборы, выборы... 7 мая они состоялись. Борьба за власть в правительстве, парламенте шла и на улицах, и в каждой семье. «Вьетнам — в Италии» — с таким подстрекательским лозунгом выступили ультралевые и ультраправые. Их объединила не столько программа, сколько тактика — насилие.



нице, — четырнадцать. Раненые — восемьдесят восемь...

Город охватывает паника. Она достигает предела к вечеру, когда становится известным, что вторая бомба была заложена в Коммерческом банке, расположенном на площади театра «Ла Скала». В четыре пополудни швейцар банка видит рядом с лифтом портфель черной искусственной кожи. Полагая, что портфель забыт кем-то из клиентов, он относит его в дирекцию. Там уже слышаны о взрыве на площади Фонтана и тут же, не мешкая, вызывают полицию. В портфеле обнаружено около восьми килограммов взрывчатки.

В тот же день, 12 декабря, три взрыва раздают в Риме. В 16.45 — в подземном переходе Трудового банка. Четырнадцать человек ранено. В 17.16 и в 17.24 — у столичного памятника «Алтарь отечества». Восемь раненых...

Вечером, пытаюсь сбить волну паники, поднявшуюся в стране, премьер-министр выступает по телевидению.

— Будет сделано все возможное, — говорит он, — чтобы найти и наказать тех, кто лишил жизни многих и поразил в самое сердце всех...

Что происходит в Италии? Отчего в 1968 года все времена года в этой стране стали именоваться «жаркими»? Ответы на эти вопросы не просты, и искать их надо в экономической и политической обстановке. С одной стороны, экономический застой и начавшийся финансовый кризис. Правящая демокристиянская партия предложила один лишь выход — двинуть экономикку вперед за счет трудящихся, заморозив их заработную плату, ограничив право на забастовку, усилив «отдачу» труда (то есть эксплуатацию). С другой стороны, к этому времени возросло и самосознание трудящихся. На политику правительства они отвечали организованными забастовками и политическими демонстрациями. В эту борьбу, которая велась прежде всего под руководством компартии и передовых профсоюзов, включился не только рабочий класс, но и молодежь (в первую голову — студенты, выступавшие за демократизацию университетских программ), интеллигенция, служащие.

Фотографии демонстраций и митингов, избития полицией их участников, списки арестованных и отправленных в больницы стали обычной газетной информацией. Это были действительно вести с «фронтов классовой борьбы», и «фронт» этот прошел не только поперек миланских и римских улиц и площадей, но разделил друзей и семьи. «Право», «лево», «центр» для многих перестали быть абстракцией, а стали принципом, который надо было защищать, стали мужеством и трусостью, верностью и предательством, верой и страхом, причиной заботы и предметом властолюбия...

И в этой напряженной, тревожной обстановке, где все решали сплоченность, продуманность и ответственность действий левых демократических сил (именно тогда был раскрыт заговор военных, планировавших переворот по типу греческих полковников с «подключением» НАТО), в обстановке, когда одной из задач было не допустить кровопролития, — происходили события, определить которые можно лишь словом «провокация». По данным министерства внутренних дел, за двенадцать месяцев 1969 года зарегистрировано 53 террористические акции. Их авторов во многих случаях определить было несложно: взрывы в отделениях и секциях компартии, в комитетах бывших участников Сопротивления, в редакциях прогрессивных газет были, несомненно, делом рук неофашистов. За «честь» же быть названными авторами многих бессмысленных акций, направленных против ничего не ведавших прохожих, зачастую выступали ультралевые организации — от маоистских до анархистских. Им приписывались взрывы, прогремевшие 25 апреля на международной ярмарке в Милане, на железнодорожном вокзале Милана (двадцать раненых) и в ночь с восьмого на девятое августа в девяти мчащихся поездах (десять раненых). Наконец, взрывы, с которых мы начали рассказ, — 12 декабря 1960 года...

Первых арестованных машины карабинеров стали доставлять еще вечером 12-го. Сотни длинноволосых, бородатых, облаченных в джинсы, кожаные куртки, экзотические пончо, макси-пальто и мини-юбки молодых людей рассаживались по скамьям полицейских участков в ожидании предварительных допросов. Планамерно, проставляя галочки в заранее составленных списках, полицейские и агенты прочесывали помещения маоистских, анархистских и фашистских группировок, реквизируя по пути листовки, призывавшие к террору, и собирая тут и там оружие, каскеты, металлические прутья.

Одним из первых арестован анархист Джузеппе Пинелли — 41 год, женат, отец двух дочерей, железнодорожный служащий — таково краткое досье Пинелли. В свое время ему предъявляли обвинение в участии в террористической акции на миланской ярмарке. По сообщению представителя полиции, Пинелли на допросах держался спокойно и уверенно, утверждая, что в период, когда был совершен взрыв, он находился в «своем» баре с друзьями (на этот счет были получены и соответствующие свидетельские показания). Однако в понедельник, 15-го, после нового жесткого допроса в управлении, Пинелли во время перерыва неожиданно для присутствующих метнулся к окну и, опередив кинувшихся наперерез

агентов, выбросился с пятого этажа. Такова история Пинелли, по крайней мере, в официальном изложении полиции.

15 декабря, то есть в тот же день, полиция начинает разрабатывать новую линию и арестовывает Пьетро Вальпреду, который и стал одной из ключевых фигур судебного процесса по делу о взрыве в Сельскохозяйственном банке, процесса, тянущегося донныне.

Штрихи к портрету Пьетро Вальпреды

С самого начала стало очевидным, что процесс по «делу Вальпреды» носит откровенно политический характер. В этой истории потому важно представлять не только «кто, когда, где и почему», но и направление политической мысли, если таковая была, или же действий, которые вдохновляли обвиняемого; важно понять, в конце концов, с кем он шел.

...Старый, потрепанный временем дом в средневековом квартале Милана. Пересекаешь двор, ныряешь в темный без двери подъезд и осторожно спускаешься по лестнице. Неожиданно за поворотом натыкаешься на неяркий свет из выходящего в коридор окна. В окне какой-то человек сосредоточенно обрабатывает сиденье старого, верно, подогнанного на свалке стула. На мгновение мастер вскидывает голову, потом поспешно отворачивается...

Наконец, в конце коридора красная дверь, из-за которой доносятся голоса. На стук открывают не сразу, а только услышав пароль. В комнате несколько человек: огромный черноволосый парень с усами, сосульками свисающими вниз; стройный, с белокурыми прядями юноша, который, судя по костюму и пеннистому жабо, только что прямиком с Альбиона прибыл в дилижансе лорда Байрона; чуть дальше трое в мотоциклетных куртках и как-то тихая парочка — девчонке лет четырнадцать, мальчишке — не больше шестнадцати. Впрочем, молодцы все — и у всех внимательные, с затаенной болью глаза.

В середине просторного подвала большой стол и стулья, на одной стене развешаны анархистские газеты, на другой нарисованы карикатурные изображения бегущих перепуганных священников, генералов, министров и просто буржуев, за которыми гонится здоровенный, размахивающий дымящейся бомбой анархист. Чтобы развеять все сомнения, на

его майке красуется А в белом круге.

Сюда, в анархистский кружок «Ворота Гизолфа» (по названию миланского предместья), журналисты пришли, чтобы задать несколько вопросов о Вальпреде.

«Последнее время он здесь не бывал, — говорит один из присутствующих. — Некоторые из новичков с ним даже не знакомы». — «И потом, — вступает в разговор белокурый, — это сделал наверняка кто-то иной. Вальпреда — он культурный. Да и вообще анархист не может запятнать себя таким преступлением», — решительно заключает он.

Журналисты бросают последний взгляд на дымящуюся бомбу на стене и покидают подвал. Теперь они едут через весь город, туда, где живут родители и сестра Вальпреды. «Он оставил дом давно, еще мальчиком, — говорит



Обыкновенная «дьявольская машина»... Годится и для ультраправых, и для ультралевых... Для того чтобы обыватель вздрогнул, испугался...

отец. — С тех пор мы видели его редко».

Кто же скажет о Пьетро Вальпреде — да, он был с нами; кто скажет — да, он один из нас?..

Родился Вальпреда в пригороде Милана, в небогатой семье. Отец работал в табачной лавке; конечно, и он хотел добиться большего, но не получилось, так что главное, что всегда поддерживало его в жизни, — терпение. Все великие планы отец связывал с сыном, хотел, чтоб тот учился, быть может, стал инженером... Но и здесь ему пришлось смириться. У Пьетро не обнаружилось ника-

кого желания учиться, пришлось пристраивать его на работу. Поначалу казалось, что здесь-то дело пойдет на лад, но время от времени, всегда неожиданно, сын бросал работу... Ничего не получилось и с музыкой, которой он увлекся. Так было постоянно — надежда и скорое разочарование. Слишком скорее... Единственно, где он преуспел, — это танцевальная площадка. Играли, правда, другие, зато он стал кумиром среди танцующих. «Пьетро-вуги» прозвали его навсегда, неуклюже топтавшиеся в послевоенных робких танго и вальсах. Для Вальпреды это была чуть ли не слава; он становится своим в барах, где собирается «богема» — безвестные писатели и журналисты, поэты и контрабандисты. Разговоры, разговоры — разговоры выше горла. Утром, когда Пьетро возвращается домой, родители как раз собираются на работу. Они кажутся ему самыми жалкими созданиями не свете; возможно, они даже не знают, что такое экзистенциализм...

Наступает день, когда он исчезает из дому. Решено, он начнет самостоятельную жизнь! Только с чего начать? Вальпреда начинает с бандитизма. Трудно сказать, были ли у него планы стать «великим бандитом», наверное были, но кончает он чуть ли не первой же мелкой кражей. В полиции на него заводят «дело». Потом в нем появятся и потасовки, и беспорядки, и контрабанда, но ничего «великого». Вальпреда вновь возвращается на сцену танцплощадок; он мечтает о шумном успехе, а владельцы его выпускают для затравки. Неизвестно, как сложилась бы его судьба, не помоги ему случай. Он попадает в опытные руки одного антрепренера. С годами приходит мастерство, контракты в ревью и даже выступления в телевизионных программах; Пьетро покупает небольшую квартиру в Риме... Все рухнуло, когда его «добрый гений» — его продюсер и наставник попадает в автокатастрофу. Снова жизнь устраивает ему проверку на самый трудный для него предмет — терпение, упорство, характер.

И все же главные события в жизни Пьетро Вальпреды связаны не с работой, а с политикой. В начале шестидесятых годов он увлекается анархизмом. Неуравновешенность характера, неспособность к серьезному самоанализу и трезвому взгляду на действительность, жажда молниеносного и шумного успеха, а

главное, слепая ненависть к миру — нет, решительно только анархизм мог удовлетворить натуру Вальпреды! Причем не всякий анархизм — ему не подошли «умеренные» анархисты миланского кружка «Ворота Гизолфа», как, впрочем, и анархисты римского «кружка Бакунина». «У вас ничего не получится. Надо, чтобы о нас услышали, чтобы нас знали», — так сказал прежним сподвижникам Вальпреды и вместе с несколькими друзьями организовал новый кружок «22 марта».

«Мы, — выступили с заявлением члены «22 марта», — хотим уничтожить господство и насилие человека над человеком, ...мы



Обыкновенное убийство, не уместившееся в размеры очерка: именно здесь неизвестными (фашистами, леваками?) был убит комиссар полиции Калабреззи, в свое время допрашивавший анархиста Пинелли.

хотим, чтобы общество было устроено так, чтобы каждый мог пользоваться максимальным материальным и моральным богатством... Мы хотим для всех хлеба, свободы, любви и науки... Ни бога, ни государства, ни хозяев, ни рабов».

С этой «великой программой» воспринявший духом Вальпреда кидается в римский рабочий рай-

он Трастевере. Через несколько дней буйной агитации в пользу скорого апокалипсиса и жарких споров с обычно невозмутимыми обитателями района Вальпреды вынуждены спасать полицейские.

Если исходить из психологии Вальпреды, логично предположить, что новое поражение могло подсказать ему и новый выход — акты террора. Взрывы, по его расчетам, могли принести желанное чувство власти, собственной значимости. Но есть в «деле Вальпреды» еще одна сторона: в определенном смысле он был не только идеальным анархистом, но и идеальным... козлом отпущения, фигурой, которой легко приписать преступления на площади Фонтана. О том, что люди, которым это выгодно, действительно существуют, пресса писала со дня взрыва. Посмотрим для начала, выгодно ли это было тем, кто вместе с Вальпредой входил в анархистский кружок «22 марта». Итак, кто они?

18-летний студент политехникума, сын советника кассационного суда; 17-летний лицеист, сын известного музыканта, с недавних пор называющий отца «угнетателем», мать — «темной католичкой», а младшего брата — «продажным социал-демократом»; 24-летний студент архитектурного факультета (отец — инженер, мать — аристократка, дядя — бывший сенатор королевского парламента); 19-летний студент политехникума, сын кассира римского Трудового банка, в подземном переходе которого и был произведен один из взрывов 12 декабря.

Наконец, Марио Мерлино, 25 лет, студент факультета филологии и философии, один из организаторов анархистского кружка «22 марта», друг Вальпреды, а также член... неофашистской организации и ее освещитель, внедренный в ряды анархистов!

Судя по заявлениям и поведению властей, «дело Вальпреды» было ясным с самого начала. Прошло, однако, 784 дня предварительного заключения, прежде чем начался судебный процесс. Мало того, едва начавшись, он был снова отложен и перенесен в Милан... День открытия суда выглядел так: в весьма тесном зале находилось 400 человек на местах для публики, 200 вскарабкавшихся друг на друга журналистов, 60 карабинеров, 40 адвокатов, 50 членов суда, советников, помощников и, естественно, обвиняемые — Вальпреда и еще

15 человек, каждый в окружении группы карабинеров. Снаружи — батальоны агентов, рассыпавшихся по прилегающим улицам, дворам, кустам. Медленно, со скрипом «ясный» процесс начался...

Пока суд да дело, вернее пока «дело Вальпреды» готовили к суду, произошло еще одно чрезвычайное событие, взволновавшее всю Италию...

Труп был найден в половине четвертого 15 марта 1972 года в пригороде Милана. Случилось это после того, как двое крестьян, привлеченные лаем дворняжки Твист, пересекли широкое поле, отделявшее их дом от опоры № 71 линии электропередачи. Вызванный наряд полиции обнаружил труп, в кармане которого нашли документ на имя Винченцо Маджони; к одному из оснований опоры было привязано несколько динамитных шашек, а у края поля, в зарослях, стоял пустой фургон — светло-зеленый «фольксваген», внутри которого были сложены географические карты, взрывчатка, мотки проволоки. На мертвом была куртка и брюки армейского оливкового цвета. В удостоверение личности вложены два негатива с изображением женщины и ребенка.

Вечером в миланском управлении полиции устанавливают, что документ фальшивый. Ночь проходит в догадках и поисках отпечатков пальцев, снятых у погибшего. Но, опережая полицию, уже с утра по городу пополз слух, согласно которому погибший есть не кто иной, как Джанджакомо Фельтринелли. Более того: официальные представители издательской фирмы «Фельтринелли» не только подтверждают этот слух, но и уточняют — Фельтринелли не просто погиб, а убит. Вечером, после опознания трупа близкими, полиция подтверждает личность погибшего.

Штрихи к портрету Джанджакомо Фельтринелли

В отличие от Пьетро Вальпреды Фельтринелли был известен всей Италии. 45-летний миллиардер, наследник одного из богатейших семейств Италии, крупный землевладелец, хозяин одной из крупнейших издательских фирм — уже этих титулов хватило бы для известности. Но, рассуждая о возможных причинах смерти, большинство итальянцев во главу угла ставило не богатство Фель-

тринелли, а его взгляды, трагичность самой фигуры.

Джанджакомо воспитала мать — женщина властная, со взглядами, идеально подходившими к монокло, который она носила на прусский манер. Сыну было запрещено общение с миром, обычная школа была отвергнута сразу же, воспитанием занимались строгие наставники на дому.

Он родился в 1926 году, стало быть, в 43-м ему было семнадцать. Против воли матери Джанджакомо вступил добровольцем в итальянский Освободительный корпус, двигавшийся вместе с союзниками на север полуострова. В сорок пятом близкие вспоминают его таким: худой и высокий, физически не сильный, в одно и то же время неуверенный и упрямый, замкнутый и агрессивный; он весьма легко загорался, но увлекался не столько идеями, требующими размышления, сколько лозунгами, требующими моментальных действий.

Он вступил в компартию, но вскоре, столкнувшись с такими партийными требованиями, как дисциплина, единая линия, постоянная кропотливая работа по организации трудящихся масс, Фельтринелли выходит из ее рядов. Начинается его движение на крайне левый фланг: туда, где маячат ультрареволюционные лозунги, миражи быстрых побед, заговорщицкая деятельность.

Поступки его были искренни и, по его убеждению, кратчайшим путем вели к достижению всеобщей справедливости. Последствия их — зачастую катастрофичные. Он был человеком действия, но добавьте к этим действиям (как добавляла жизнь) его идейные заблуждения, его человеческие недостатки (неумение понимать окружающих, отчужденность от людей — «у меня нет времени на друзей»), добавьте, наконец, его неограниченные средства — и тогда «действие» неизменно приведет к погоне за властью, лидерством.

Конечно, так случалось не всегда. У Фельтринелли были и неоспоримые заслуги перед обществом. Так, организовав издательство, он первым стал публиковать книги, которые до этого не доходили до читателя, и прежде всего книги классиков революционной мысли...

В последние годы Фельтринелли не сидел подолгу на месте, разъезжая по западным странам, организовывая и финансируя ультралевых. Он всегда куда-то уезжал и откуда-то возвращался,

и всегда тайно. Смешно, конечно, предполагать всерьез, что передвижения такого человека, известного и любопытного для политической полиции многих стран Запада, были абсолютным секретом. Этот прозрачный мрак был полиции скорее на руку, а Фельтринелли он помогал играть в свою бесконечную игру — человека богатого, всесильного, стоящего выше обыкновенных людей и снисходящего до их уровня; чтобы вести их к справедливости; короче, игру в современного графа Монте-Кристо. Игру по нынешним временам недальновидную и опасную. Эпизодом ее вполне могла стать диверсия — взрыв опоры высоковольтной линии.

Но все же, что такое гибель Фельтринелли — несчастный случай во время подготовки диверсии или убийство? Так как истина пока не установлена, остается строить предположения...

ПЕРВОЕ. Имеются три свидетельских показания, согласно которым рядом с фургоном находились «двое без бороды» (Фельтринелли был с бородой). Можно предположить, что они приехали с издателем, чтобы помочь разведать обстановку и установить взрывчатку. Когда нижний заряд был прикреплен, Фельтринелли попросил помощников отойти и полез наверх. Нечаянный контакт — и происходит взрыв. Двое сообщников в панике убегают... Но возникает вопрос — что это за разведка обстановки, которая занимает четыре, а то и пять дней? А ведь именно столько дней двое свидетелей видели стоявший у шоссе «фольксваген». Не логичнее ли предположить, что двое (тем более что их видели без издателя) дожидались, когда будет доставлен Фельтринелли — под угрозой пистолета, оглушенный или усыпленный?..

ВТОРОЕ. Результаты вскрытия говорят о том, что издатель умер от потери крови после того, как взрывом ему оторвало правую ногу. В то же время пока нет никаких свидетельств того, что повреждения черепа были получены им **во время** взрыва и падения с полторамертовой высоты фермы, а не **до** этой секунды.

ТРЕТЬЕ. Как объяснить историю с поддельным документом и действительными фотографиями семьи Фельтринелли? Не напрашивается ли тут предположение, что удостоверение было подсу-

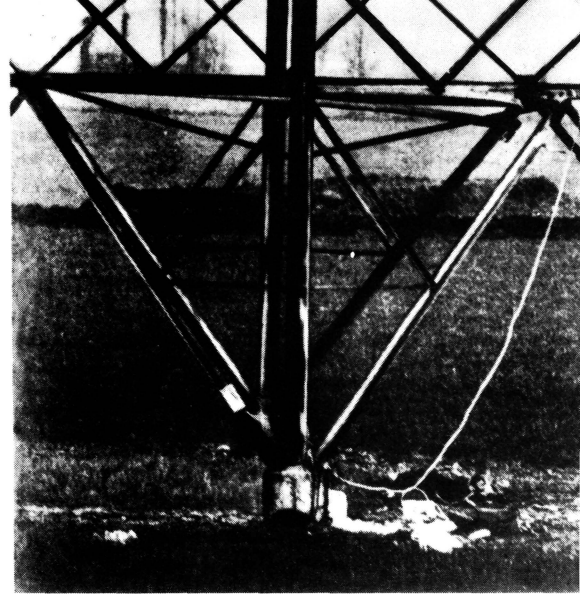
нуто для того, чтобы убийство не выглядело сразу же слишком очевидным, а семейные негативы — для того, чтобы Фельтринелли был все же, в конце концов, узан? Случайно ли слух о том, что погибший и есть Фельтринелли, пополз по Милану в первые же часы, когда полиция еще шла по ложному следу? Наконец, каким образом удостоверение, бланк которого, как доподлинно установлено, был похищен из муниципалитета пригорода Тревизо бандой неофашистов, очутилось в куртке ультра левого Фельтринелли?

ЧЕТВЕРТОЕ. Стало известно, что Фельтринелли давно уже опасался покушения. Накануне гибели, находясь на своей австрийской вилле, издатель сказал своему поверенному: «Я боюсь вернуться спиной к лесу. Там вполне может оказаться ружье, готовое в меня выстрелить». А еще раньше: «Если вскоре под каким-нибудь мостом найдут обезображенный труп, не забудьте вспомнить обо мне». Мания преследования или обоснованные опасения мести фашистов?

ПЯТОЕ. Конечно, можно предположить, что такой эмоциональный, склонный к авантюрам, к увлечению конспирацией и вообще «тайной революционной деятельностью» человек однажды темной ночью выходит для того, чтобы самому свершить акт, к которому он столь страстно призывает молодежь. Но разве менее логично предположить, что Фельтринелли скорее пристало (да и привлек он!) руководить, организовывать, финансировать, наконец, террористические операции?!

И еще одно на первый взгляд фантастическое предположение. Фельтринелли мог стать пленником не только в прямом, но и переносном смысле слова. Он мог быть вовлечен в операцию какой-либо фашистской группировки, действующей под ультралевой вывеской.

Как установила полиция, светло-зеленый «фольксваген» был застрахован на имя Карло Фьорони, члена ультралевой организации «Рабочая власть». Один из представителей «внепарламентской» левой оппозиции говорит об этой группировке следующее: «Мы давно подозревали, что она состоит из службе правой реакции. В прошлом году она почти исчезла из поля зрения и появилась лишь несколько недель назад. Причем дерзости и денег у нее стало хоть отбавляй... Теперь вот эта история. Нет, никому нельзя верить...»



Ферма опоры линии электропередачи, под которой был найден труп издателя Фельтринелли. Виден заряд и детонирующий шнур.

Суждения по «делу Фельтринелли», как и по «делу Вальпреди», пока могут быть разными. Безусловно ясно только одно: оба этих трагических события можно рассматривать только через призму интересов замешанных здесь политических сил. Другими словами: *cui prodest?* — кому это выгодно? Что представляют собой ультралевые, столь разные представители которых стали «героями» двух процессов? Что объединяет, с одной стороны, угодивших не в ту эпоху «странников» и «юродивых», готовых, кажется, браться с проклятыми, живущих в грязи и ожидающих пришествия рая, а с другой — людей, щеголяющих кипучей антибуржуазностью и ультрареволюционностью? Причины, пожалуй, две.

Это, если можно так выразиться, «жизненная некомпетентность», иными словами, неспособность к самовоспитанию, к овладению нелегкими жизненными знаниями и навыками, наконец, к упорному труду. Не случайно значительная часть леваков состоит из детей мелких буржуа, то есть людей, получивших в наследство не только определенное материальное благополучие, но и задачу каким-то образом его удержать. Всем, наверное, знакомы люди, которые в сложной шахматной ситуации предпочитают смануть фигуры с доски..

Вторая причина — расхожие идеи, поставляемые молодежи Запады деятелями типа Фельтринелли. Идеи стары как мир, их несостоятельность доказал еще Маркс. Но ведь они так много и так скоро обещают: «Революция свершится, стоит только захотеть... Давайте делать революцию сегодня же, остальное нас не интересует; или революция, или пошли спать!»

Увы, «революционные забавы» не так безопасны, как может показаться...

«Жаркий» декабрь 1969 года неожиданно для всех захватил и солнечный, патриархальный, тихий городок провинции Венето—

Тревизо. Вскоре после взрыва в Милане на площади Фонтана здесь было начато «дело», на этот раз против трех фашистов.

Джованни Вентура, 28 лет, книготорговец и издатель, с 18 лет член неонацистского «итальянского социального движения».

Франко Фреда, 31 год, адвокат, «полунацист, полумаоист».

Пино Раути, 46 лет, главный обвиняемый, редактор римской ежедневной газеты «Темпо», основатель штурмовой фашистской группы «Новый порядок».

Всем троим — Раути, Фреда, Вентура — предъявлено обвинение в «подстрекательстве, организации и финансировании взрывов 12 декабря 1969 года в городах Милане и Риме, с целью чего обвиняемые вошли в сговор между собой и с неизвестными исполнителями».

Как же началось это расследование, переворачивающее «дело Вальпреды»?

Три дня спустя после взрывов школьный учитель Гуидо Лоренцон, явившись к адвокату, дал добровольные показания. Ему, сказал он, стали известны от его приятеля Джованни Вентуры факты, проливающие свет на террористические акты последних месяцев. Вентура обнаружил не только детальное знание обстоятельств всех взрывов но и: а) заявил, что взрывы в девяти поездах стоили ему 900 тысяч лир (по 100 тысяч на бомбу); б) показал набросок подземного перехода римского банка, где был произведен взрыв; в) показал два оливкового цвета ящика с патронами. На ящике была надпись на английском языке («Из запасов НАТО», — пояснил Вентура); г) не раз объяснял схемы взрывных устройств; д) упомянул о планах покушения на президента Никсона во время его визита в Италию; е) дал понять, что участвовал в организации взрыва в Сельскохозяйственном банке, и высказал при этом следующую «мысль»: «Жизнь революционера (!) стоит больше жизни четырнадцати случайных прохожих»; ж) намекал на существование в Италии военизированной организации, стремящейся к захвату власти; не исключал, что эта же организация, имеющая пирамидальное построение, провела серию взрывов; з) не скрывал, что незадолго до известных событий получил банковский кредит в 30 миллионов лир по поручительству некоего сенатора; и) и т. д. и т. п.

Далее события принимают странный оборот: в прокуратуре,

куда Лоренцон по совету адвоката передает показания, ему вскоре сообщают, что свидетельства его — сплошной вымысел, ибо Джованни Вентура в ходе беседы доказал, что он «является примерным, патриотически настроенным гражданином». После такого ободряющего заключения Вентура подает на бывшего друга-учителя в суд, обвиняя его в клевете. В общем-то, этот оборот — для Лоренцона лишнее доказательство его правоты: ведь среди прочих утверждений Вентуры было и довольно прозрачное замечание о том, что у него «есть своя рука наверху».

К счастью, в прокуратуре ходят люди, согласившиеся дать Лоренцону шанс найти подтверждение своим показаниям. Разрабатывается сценарий, достойный фильмов о Джеймсе Бонде: Лоренцон приглашает Вентуру к себе «для выяснения отношений». В ходе разговора с глазу на глаз Вентура откровенен: он не отрицает всего, что говорил ранее, он просто говорит, что у Лоренцона ничего не получится, доказать он ничего не сумеет. Так говорит Вентура, не подозревая, что в комнате спрятан микрофон, что в машине, стоящей у дома, все его слова записываются на пленку...

«Дело» наконец сдвинулось с мертвой точки. В ходе расследования получены свидетельские показания, подтверждающие откровения Вентуры. Выяснились и новые стороны деятельности этой группировки фашистов. Например, были обнаружены фамилии и адреса двух тысяч офицеров итальянской армии, к которым фашисты обратились с письмами, призывающими «взять власть в свои руки с целью изменения государственной конституции и создания нового политического управления страной».

Стала яснее и злобещая фигура журналиста Раути, организатора группы «Новый порядок» и кандидата во время майских парламентских выборов от неонацистской партии «итальянское социальное движение». Весной 1969 года Раути организовал для сорока молодых неонацистов инструктивный круиз в Грецию. Этот факт из биографии Раути — лишнее подтверждение тому, что именно Раути является таинственным «синьором Р», который, судя по перехваченному итальянской контрразведкой микрофильму, стоит во главе фашистского заговора, вдохновителями которого выступают греческие «черные полковники».

Это обстоятельство дает возможность говорить не только об огромном, международном масштабе фашистского, на греческий манер, заговора, но и проясняет его стратегию и тактику.

Стратегия заключается в создании политической напряженности, а тактика — в использовании членов ультралевых организаций, как непосредственных исполнителей актов террора и саботажа.

Кстати, в той «туристской» поездке в Грецию принимал участие уже известный нам Мерлино. Вернувшись в Италию, Мерлино неожиданно сменил политическую ориентацию и из активного фашиста превратился в активного анархиста, одного из руководителей группы «22 марта» и друга Пьетро Вальпреды...

Таков логический конец деятельности анархистов типа Пьетро Вальпреды и ультралевых типа Джанджакомо Фельтринелли.

Раскачать общество, напугать его — в этом фашисты полностью солидарны с левыми экстремистами. Но если программа леваков — это авантюрный и близорукий путь «борьбы с насилием с помощью насилия», то тактика неонацистов — подтолкнуть перепуганную часть общества в свои объятия.

На кого рассчитывают неонацисты? На обывателя, убедившегося в неспособности демокристьян эффективно управлять экономикой и общественной жизнью; на лавочника, задержанного страхом за свое имущество и с ужасом читающего в газетах о росте преступности; на предпринимателя, звереющего от одной лишь мысли о новой забастовке на его предприятии; на адмиралов и генералов, тоскующих по казарменной дисциплине; на престарелых дам, одевающихся в траур в годовщину казни Муссолини и вздыхающих по тем прекрасным временам, «когда поезда ходили по расписанию, а служанки были сговорчивы и безропотны»; на тех, кто в свое время не дорезал и не дострелял; на молодых безумцев, готовых удовлетворить свою жажду деятельности кулаком или автоматом...

Создать обстановку тревоги и напряженности, сделать так, чтоб рядовой итальянец возжелал «порядка», «твердой власти», подготовить условия к государственному перевороту, захватить власть и подавить все истинно прогрессивные силы страны — вот цели нынешних фашистов. И тут авантюры анархистов и маоистов им никак не помеха...

УГОРЬ ПОЛЬЗУЕТСЯ КОМПАСОМ?

Сколько уже выдвигалось гипотез, сколько было проведено опытов и наблюдений, но загадка остается загадкой: почему пресноводный угорь, живущий в реках и озерах от Балтийского моря до Средиземного, нереститься идет всегда в Саргассово море? Каким образом личинки угря добираются обратно без проводников — ведь взрослые особи после нереста гибнут?

Некоторые специалисты предполагают, что личинки дрейфуют в потоках Гольфстрима два-три года, постепенно превращаясь в того угря, который и заселяет пресноводные водоемы от 23-й до 72-й параллели. Но...

Допустим, что Гольфстрим действительно служит в царстве Нептуна «общественным видом транспорта». Однако как находят личинки угря точное «место посадки» в этот «транспорт»? Ведь их родители высаживались в Саргассовом море, так сказать, с другой платформы: взрослые угри плывут к месту икротетания в глубинных слоях Гольфстрима, а их потомство плывет к Европе в верхних, где температура воды и соленость резко отличаются.

...Известно, что живому организму для направленного движения в пространстве необходимы и достаточны два навигационных прибора — часы и компас. Разумеется, биологические часы и биологический компас. В процессе эволюции периодические внешние природные факторы должны были выработать в организме рыб механизм «часов», а постоянные — механизм «компыаса». Но какие именно постоянные факторы? Направление течений, температура воды, ее химический состав, рельеф дна, времена года, смена дня и ночи?..

А может быть, таким постоянным фактором является магнитное поле Земли?

Молодые исследователи-биофизики С. Глейзер и В. Ходорковский из АтлантНИРО поставили перед собой задачу узнать, ориентированы ли «компыас» угря на магнитное поле Земли. Был построен аквариум-лабиринт, внутри которого можно включать искусственное магнитное поле. Аквариум напоминает пчелиные соты, полые грани которых образуют узкие каналы, заполненные водой. В эти каналы выпускали небольших, до десяти-пятнадцати сантиметров, угрей и

с помощью специальных счетчиков регистрировали, какое из направлений, сорентированных по сторонам света, они выбирают.

Выбор того или иного пути, очевидно, зависит только от воздействия внешних факторов: температуры и химического состава воды, наличия магнитного поля. Если окружающая среда не подскажет маршрута, выбор, естественно, будет совершенно случаен.

В аквариум со «включенным» магнитным полем Земли выпускали молодого речного (европейского) угря, и он плавал там 15 минут, не больше, чтобы не привык к маршруту и не запомнил его. Затем — второго, третьего... двадцать четвертого. Затем опыт повторили еще раз. Двадцать четыре новых угря, тот же лабиринт, тот же свет... Все, одним словом, прежнее. Только в этом случае магнитное поле Земли было скомпенсировано включенным магнитом, иными словами, «выключено».

И вот при «отключенном» магнитном поле ни одному из маршрутов предпочтения отдано не было — по всем трем угри проплывали примерно одинаковое число раз. Когда же угри путешествовали в магнитном поле Земли, они явно предпочитали маршрут норд-норд-ост — зюйд-зюйд-вест.

Но ведь если угорь действительно «пользуется» магнитным «компыасом», то он должен не только ощущать наличие земного магнетизма, но и улавливать изменение напряженности поля при движении от одной широты к другой. Поэтому эксперимент в лабиринте провели под Калининградом и на Куршской косе. Здесь угри предпочитали совершенно другое направление — вест-ост. Но, может быть, на показании «компыаса» повлияли время года, время суток, освещенность, температура воды, ее состав?

Это исключено.

В Калининграде наблюдения вели в сентябре, днем. В лаборатории горели яркие электрические лампы. Предварительно накормленных рыб выпускали в водопроводную воду комнатной температуры. А на Куршской косе воду в аквариум-лабиринт наливали гораздо более холодную — из колодца. Дело происходило в феврале, и опыты ставили круглые сутки: ночью — при слабом электрическом свете, днем — под зимним облачным небом. Угри были голодными — за двое суток до старта им не давали корма. Естественно, такая разница в условиях существенно сказывалась на «на-

строении» рыб. Но и в Калининграде, и на Куршской косе угорь оставался верен своему «излюбленному» для этой широты направлению — вест-ост. Биологический «компыас» его реагировал неизменно лишь на геомагнитные характеристики местности. Ни на что другое.

Следовательно, исходя из результатов этих опытов, можно сделать предположение, что биологический «компыас» угря ориентирован на магнитное поле Земли, именно оно подсказывает угрям, где «сойти» или «сесть» на «экспресс» Европа — Саргассово море — Европа. Так ли это? Эксперименты в лабиринте продолжают.

В. ТАРХАНОВСКИЙ

АЙСБЕРГИ ВМЕСТО КАНАЛОВ

Проблема освоения пустынь все более интересует человечество. Вот-вот она превратится в насущную необходимость.

Ученые разных профессий задаются вопросом: как дать пустыням воду, источник жизни?

Оригинальный проект предложен на недавнем Международном симпозиуме гляциологов в Кембридже. Уильям Кемпбелл и Уилфорд Уикс считают, что лучше всего использовать для обводнения прибрежных африканских пустынь антарктические айсберги. Эти осколки континентальных ледников являются гигантскими резервуарами пресной воды. Ледяные горы дрейфуют до умеренных широт, но очень медленно. А что, если подтолкнуть их? Иными словами, пусть морские буксиры доставляют эти природные скопления замерзшей воды в районы «водяного голода».

Расчеты показали рентабельность транспортировки больших и средних айсбергов. Разработаны примерные маршруты. Так, из моря Росса рентабельно буксировать айсберги в район пустыни Атакама, из района ледника Эймери — к австралийскому побережью, от шельфового ледника Фильхнера — к африканской пустыне: Намиб.

**ЗАГАДКИ
ПРОЕКТЫ
ОТКРЫТИЯ**



В № 7 нашего журнала за 1971 год был опубликован очерк о загадочной истории цивилизации Крита. ...В течение полутора тысяч лет, начиная примерно с 3000 года до нашей эры, во всем Средиземном море господствовал Крит. Цивилизация Крита была тесным образом связана с культурой близлежащих Кикладских островов.

Богатство и мощь Крита и Киклад обеспечивали безраздельное господство их на море. В то время, когда Египет и Месопотамия строили речные суда с округлым дном, кораблестроители Крита спускали на воду килевые корабли. Устойчивые и крепкие критские корабли бороздили Средиземное море из конца в конец. Капитаны тех древних судов грузили в Кикладах — своеобразном международном зерновом центре — пшеницу, обсидиан, медь, олово, искусно изготовленные кувшины и мраморные ста-

ТАЙНА САНТОРИНА — ТАЙНА КРИТА?



Экспедиция уходит в поиск



туэтки. Не удивительно, что керамика, сработанная на Кикладах еще в XVIII веке до нашей эры, была обнаружена во Франции и на острове Майорка, что рядом с Испанией, а янтарные украшения — в греческих захоронениях.

Вторая половина XVI века до нашей эры была золотым веком Крита; после того, как минойские военные корабли очистили море от пиратов, мощь Критского царства стала настолько несонрушима,

а уверенность в своих силах настолько беспредельна, что города перестали окружать себя защитными стенами и укреплениями.

Гибель наступила неожиданно. Она была скорой и полной. И о причинах ее спорят до сих пор.

...В этом номере мы публикуем сообщение о новых раскопках на одном из островов Средиземного моря, которые, как считают некоторые исследователи, могут пролить свет на загадку Крита.



тот остров в Средиземном море за время своей долгой и бурной истории назывался по-разному. Сейчас моряки называют его Санторин — по имени его покровительницы Санта (Святой) Ирины. Древние греки именовали его Тира, что значит просто Земля. Так он, кстати, называется и на современных картах. Добавим к этому, что согласно преданиям его называли также Стронгайл, или Круглый Остров, и Каллистре, или Прекраснейший.

Путешественнику, подплывающему к Тире-Санторину, не миновать ощущения, будто возникающая перед ним величественная панорама создавалась какими-то потусторонними силами. В центре семидесятикилометровой лагуны дымятся два черных островка обгоревшей лавы — Каимени и Палайа Каимени. Отвесные скалы на востоке острова, напоминающего по форме полумесяца, поднимаются из воды на высоту почти триста метров. На столько же уходит вниз дно лагуны. Фактически судно пересекает огромную чашу все еще живого вулкана.

Ослепительно белые домики, карабкающиеся вверх по горе, и парящие над ними такие же белоснежные церкви... Извилистая каменная дорожка с 587 ступеньками змеей ползет вверх по обрывистому склону к главному городу острова Тира. Островитяне утверждают, что в терпеливых и выносливых осликов, поднимающих гостей наверх, вселились души тех, кто попал в чистилище и зарабатывает теперь прощение грехов. Не зря, видно, по всей Греции владельцы упрямых животных пугают их: «Смотри, не то я тебя отправлю на Санторин!»

Так и идет жизнь на Санторине: бесконечно кружат по дороге обреченные ослы, каждый день пополудни гудят колокола церквей и носятся вверх и вниз развеселые птицы. Таким представляется Санторин — остров вечного спокойствия.

Но таким он не был. Да и сейчас на Тире неспокойно. Последнее извержение произошло в 1956 году; его добыча — две тысячи домов всего за одну минуту. И это были

далеко не единственные его жертвы. Остров покрыт толстым слоем окаменевшего вулканического пепла и пемзы, столь толстым, что сейчас добыча пемзы ведется там индустриальным способом. И свидетельства трагедий, разыгравшихся здесь в древности, скрыты под этим слоем.

В 1967 году на острове начала вести раскопки археологическая экспедиция, которую возглавляет Дон Спиридон Маринатос. «Впервые судьбой острова Тира я заинтересовался еще в 1932 году, — пишет археолог, — когда был молодым «эфором», хранителем древностей, на Крите». В то время Маринатос предпринял первые самостоятельные раскопки на этом острове. Он нашел следы критской античной гавани с царской виллой, украшенной когда-то великолепными фресками. Внимание археолога привлекли огромные каменные блоки, какой-то циклопической силой сорванные с места. Рядом с остатками здания, которое было некогда сложено из этих плит, ученый обнаружил среди развалин небольшого строения толстый слой пемзы. После соответствующих анализов и консультаций с геологами Маринатос выдвинул предположение, что вулканические осадки попали на Крит в результате извержения на острове Тира. Но проверить эту гипотезу могли только раскопки на самой Тире.

И вот в 1967 году Маринатос приступил к проверке своей гипотезы. Выбирая место для начала раскопок, Маринатос остановился на деревне Акротиди, расположенной на южном выступе серповидной Тире. Прежде всего потому, что в этих краях эрозия на 65 футов размывла слой вулканического пепла. Во-вторых, деревня эта лежит в наиболее плодородном участке, защищенном от северных ветров и удобном для поселения. Наконец, в-третьих, тут сыграла свою роль интуиция — во всяком случае, так считает сам Маринатос: «Осенними и зимними утрами из Акротиди виден берег Крита — не просто Крита, а матери цивилизации, частью которой была и колония на Тире! Как же тут было

промолчать интуиции? Конечно, надо начинать раскопки на юге острова!»

Летом 1967 года после нескольких часов работы археологи откопали первые черепки явно критского происхождения. Вскоре отдельные камни и блоки, среди которых были найдены остатки гончарной посуды, стали «выстраиваться» во внутренние стены дома. А когда была прорыта еще одна траншея, открывшая подход к фасаду, было замечено, что верхние камни стены рухнули и рассыпались. Толстый слой белого вулканического пепла как саван покрывал развалины, однако под камнями пепла не было вовсе. Отсюда археологи сделали заключение: здание еще до того, как его засыпал пепел вулкана, было разрушено землетрясением...

Раскопки продолжались три года, и городок археологов постепенно расширялся, благоустраивался: было проведено электричество, построены дома, лаборатория, хранилища. Акротиди считаете чуть ли не самой бедной и несчастной деревней на острове, так что местные жители относились к нововведениям с восторгом. Но, как ни странно, не ко всем. Когда жителям предложили соединить деревню дорогой с остальной частью острова, ответом было тяжелое молчание. Лишь позже, когда дорога была все-таки построена, энтузиасты-археологи узнали секрет такой реакции.

«Вот уже пятьдесят лет, — объяснил им один из жителей деревни, — как перед каждым выборами нам обещают построить дорогу. Приезжают строители, смотрят, измеряют, устанавливают кое-какое строительное оборудование. Но проходят выборы, они упаковывают инструменты и исчезают...»

Еще в начале раскопок руководителям отрядов было указано ни в коем случае не пропускать каких-либо надписей на найденных предметах. Каково же было удивление Маринатоса, когда он, случайно кинув взгляд на кучу сложенных черепков, увидел на шейке древней вазы четкую надпись.

Подойдя к бригаде Карамитросса, шеф экспедиции сказал не без иронии:

— Итак, вы нашли первую надпись! Поздравляю! Вот только почему вы держали ее в секрете?

Бригадир бросился к вазе, внимательно осмотрел ее и возмущенно воскликнул:

— Профессор, вы над нами смеетесь! Тут нет никаких надписей!

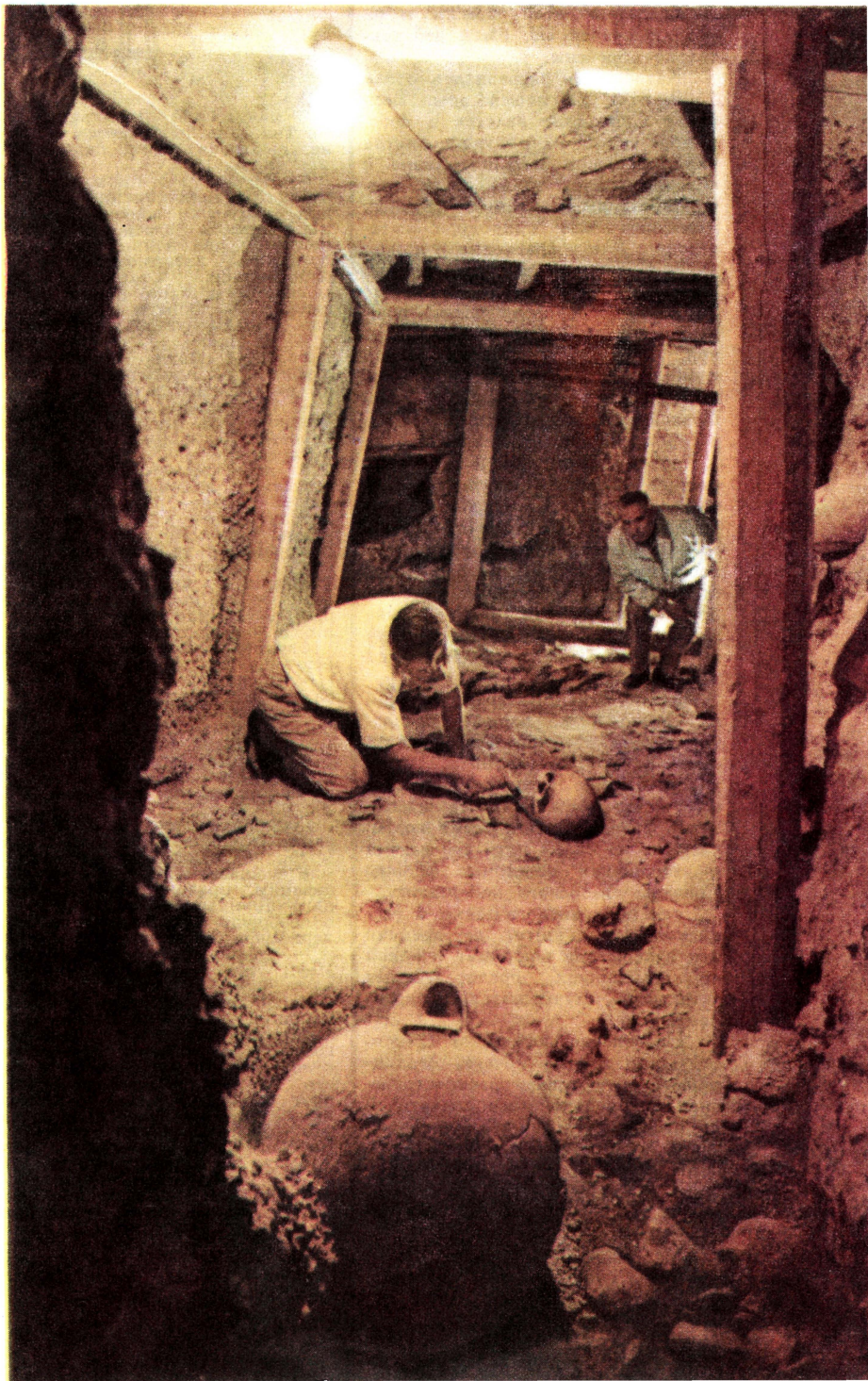
Маринатос поднял вазу — надписи действительно не оказались. «Пропавшую» надпись нашли только на следующий день. То ли это был фокус создателей вазы, то ли следствие трех с половиной тысяч лет, что ваза пролежала под слоем пемзы, — надпись видна только под определенным углом солнечного освещения. После лабораторной обработки закрепленную надпись удалось прочесть. На вазе критскими письменами было написано: а-ре-са-на. Возможно, это имя богини плодородия, аналогичное Ариадне. Или, может быть, название какого-нибудь древнего порта, в гавани которого стояли суда, перевозящие оливковое масло в таких вот кувшинах.

Было обнаружено много домашней посуды с остатками пищи и выяснено, что тирейцы в изобилии поглощали дары моря, фасоль, лакомились жареными улитками. В меню входили ячмень и просо, а приправа изготовлялась из семян кунжута. Удалось даже установить средние размеры кроватей, подтверждавшие, к стати говоря, предположение, что большинство жителей Средиземноморья того времени были небольшого роста — около ста пятидесяти сантиметров.

В основе религии жителей Тиры (впрочем, как и во всем древнем мире) лежало поклонение богам земледелия. Было найдено несколько мраморных песчаных идолов с протянутыми руками. Пока что обнаружено лишь одно место жертвоприношений. В остатках костра найдены кости птиц, ягнят, козлят, а также глиняные фигурки быков — лукавая подмена настоящих.

Однако все находки бледнеют в сравнении с фресками, открытыми при расчистке одного из зданий, общая площадь которых — тринадцать с половиной квадратных метров. Одну из них назвали «Фреска принцев». На ней изображены боксирующие юноши, их черные волосы свисают длинными прядями из-под голубых головных уборов. Некоторые исследователи считают, что эта фреска создана месопотамским художником,

Фрески Санторина поразили ученых не только своим изяществом. Ученые отметили, к примеру, два следующих факта: «Фреска принцев» дала возможность говорить о первом изображении перчаток, фреска, изображающая двух антилоп, — о том, что жители Санторина или ездили в глубины Африки, или ...африканские антилопы водились на островах Средиземноморья...



так как на Крите никогда еще не находили изображений голубых головных уборов, а клинописные шумерские таблички предписывали, чтобы волосы высококордной знати всегда изображались ляпислазурью.

Некоторые из найденных фресок без всякого сомнения превосходят все то, что до сих пор было обнаружено в районе Средиземноморья. Как выразился профессор Маринатос, «обреченный народ Санторина обладал несомненным даром создавать божественные произведения здесь, на земле». А создатели этой фрески и те, кто любовался ею, были действительно обречены.

...Катастрофа разразилась около 1500 года до нашей эры. Весь центр Санторина взлетел в небо, и море тотчас же ринулось внутрь зияющей раны. Взрыв вулкана и образовавшаяся волна стали причиной одной из самых крупных известных нам природных катастроф. Для сравнения можно взять знаменитое извержение Кракатау, происшедшее в августе 1883 года. Звуковая волна, рожденная им, трижды обожала земной шар. Пепел, поднявшийся в воздух, превратил день в ночь в радиусе до двухсот километров. Плавающая пемза слоем почти в сорок сантиметров покрывала море.

Кратер Санторина в пять раз больше кратера Кракатау, а толщина пемзы на Санторине, только лишь там, где были проведены раскопки, достигает четырех метров восьмидесяти сантиметров. Все эти данные заставили ученых предположить, что сила взрыва на этом острове была в три, а то и в четыре раза больше, чем в Кракатау.

Видимо, огненный град, упавший на землю после взрыва, превратил землю в необитаемую пустыню. Затем в огромную чашу хлынуло море. Когда это огромное количество воды ринулось вспять, то образовалась гигантская волна, снесшая на своем пути все гавани и затопившая обширные районы Средиземноморского побережья.

Судя по археологическим и геологическим данным, по времени это извержение совпадает с одной из величайших предполагаемых катастроф, случившихся в древнем мире.

...На океанографической реконструкции темная краска, ограничивающая пределы распространения санторинской, все сметающей на своем пути волны, проходит через «остров посреди виноцветного моря, прекрасный», через Крит...

А. АНТОШИНА

— Значит, так, — Маун Маун уже загнул восемь пальцев. Двумя свободными он шевелил в воздухе, помогая себе думать. — Дальше будет...

Ко Тин Шве обхватил бочку и вытащил ее из «джипа».

— Я сейчас, — на ходу сказал он.

— Надо я считал? — спросил меня Маун Маун.

— Считал.

— Пято?

— Считал.

— Ага, Вагаун. Девятый будет Вагаун.

Маун Маун загнул девятый палец.

И. МОЖЕЙКО

ДВЕНАДЦАТЫЙ

С холма мне было видно, как Ко Тин Шве пробивается к колонке, выставив бочку перед собой как таран.

— Вагаун, — проворчал промокший, находившийся старик под черным зонтом. Старика мы застали здесь, на склоне, когда у нас кончилась вода и пришлось затормозить, чтобы заправиться. Старик слушал молча, но в конце концов не выдержал. — Вагаун. Что ты знаешь про Вагаун? Почему Вагаун? — Не знаю, — коротко ответил Маун Маун. Он близоручко щурился на последний оставшийся незагнутым палец.

— Не знаешь, — обрадовался старик. — К тому же ты забыл Таботве. Да и ничего не сказал о Тауталине.

В этот момент Ко Тин Шве призывно замахал руками. Какие-то ребята в синих лонджи хотели отнять у него бочку. Этого мы никак не могли допустить и бросились на помощь.

— А самое главное, ты забыл Тинджан! — кричал вслед старик. — Ты с утра, наверно, носясь по улицам и поешь песни, а забыл про Тинджан.

Старик сложил зонтик и торжествующе захихикал.

— Послушай, — извиняющимся тоном сказал Маун Маун, когда мы отбили бочку и снова забрались в «джип», — бог их знает, все наши фестивали. Некоторые уже лет сто как перестали праздновать. А некоторые из них даже мне непонятны. Тот же Вагаун. Или Пято.

— Я знаю, что такое Пято, — вмешался Ко Тин Шве, заводя мотор. — Возьми насос, а то он мне мешает. Пято был королевским праздником. Во время него принцы на слонах и конях показывали королю свое кавалерийское мастерство.

— Правильно, — согласился Маун Маун. Он был разочарован. — Ну, готовься!

Насос был у меня в руках, хороший сильный насос. Из-за поворота торжественно вывернул громоздкий, старый грузовик, в кузов которого набилось человек сто, не меньше. Они мешали друг другу, кричали и заходились от восторга, предвкушая, что они с нами сейчас сделают. Ко Тин Шве дал газ, мы легко проскочили переполненный дремлют и опустошили наши насосы раньше, чем они, рискуя вывалиться на мостовую, успели вы-

плеснуть в нас свои чашки, миски, кружки и кастрюли. Наш маневр был оценен по достоинству.

...Есть в Бирме праздники большие и есть праздники маленькие. Праздники, когда вся страна веселится, и праздники, значение которых ограничивается деревней или пагодой. Есть праздники официальные, с парадами и демонстрациями, — День союза, День независимости, День армии, День мучеников. Есть праздники традиционные, древние, как сама Бирма. Подчас все, кроме историков да мудрых монахов, не помнят уже, почему

в день праздника надо делать именно это, а не что иное. Почему в Тазаунмон нужно запустить воздушные шары, а в Тауталин устраивать гонки на лодках. Но хотя и забылись истоки и религиозное значение праздника, его правила выполняются неукоснительно, с энтузиазмом и так весело, как, пожалуй, нигде в мире.

Вообще-то в Бирме пропустить очередной праздник почти невозможно. Надо знать только, что в Бирме раньше был лунный календарь и каждое полнолуние сопровождалось каким-нибудь праздничным мероприятием. Прошел месяц — жди праздника. И все-таки главный праздник — Тинджан, бирманский Новый год.

Приходится он на апрель — самое жаркое время года. Все пересохло — ведь дождей уже не было с октября; в городах бесчинствуют пожары, и вся страна живет одним: скорее бы приходил муссон. Просыпаясь, с надеждой смотришь на небо — вдруг в этом году дожди начнутся пораньше. Но небо все такое же белесое. Лишь вдруг, казалось бы, совсем не вовремя, без причины начинают расцветать деревья. Они покрываются красными цветами, становятся флагами, знаменами, словно хотят, чтобы дождевые облака, висящие где-то над Индийским океаном, увидели их призы, поспешили к пересохшей стране.

Тогда-то и наступает Новый год. Называется праздник Тинджан, праздник уважения, любви к людям. Очевидно, символический смысл его — очищение водой. В этот день вода льется на статуи Будды. В этот день младшие несут визиты старшим и обливают их. Больше того, сохранился и обычай, по которому девушки моют голову пожилым женщинам, проявляя этим уважение к старости. Но это, так сказать, формальная сторона праздника. Основной же центр его — на улицах.

Жара стоит несусветная. Кажется, все бы отдал, чтобы залезть под холодный душ. И вот такой душ и устраивается на улицах городов. Все, кто может ходить, за исключением, может быть, стариков и полицейских, вооружаются кружками, насосами, ведрами, выкатывают на улицы бочки с водой, выносят шланги, садовые и пожарные, и

с утра над страной повисает водяная пыль. Обливая ближнего своего! Иногда правительство пытается регламентировать водное действо — видел я как-то в газете просьбу не обливать почтальонов. Да разве разберешь в веселой суматохе, кто почтальон, а кто нет? Этот чудесный праздник проникнут доброжелательством и озорством. Разве не приятно, скажем, вылить ведро холодной воды на голову своему прямому начальнику — ведь он лишь улыбнется в ответ, а если не лишен чувства юмора, ответит тебе тем же. Вот и едут по улицам машины, пробираясь сквозь

столь необычного персонажа привело кордон в восторг. И буйвол, и крестьянин мгновенно скрылись в потоках воды. Никто даже не обратил внимания на то, что мы проскользнули мимо.

Когда «джип» набирал скорость, я оглянулся. Крестьянин на буйволе показался из-за водяной завесы. Он не изменил ни позы, ни выражения лица. Лишь мокрая кожа сверкала на солнце. Сверкали и бока буйвола. И казалось, что на фоне серебряных струй возникла бронзовая статуя.

— Почему он здесь? — спросил я.

— А что? — сказал Ко Тин Шве, не оборачиваясь и тормозя, чтобы не столкнуться с рикшей, выскочившим из переулка. — Посмотри, сколько молодых, образованных людей оказывают уважение крестьянину. Он знает, что достоин этого. Кроме того, у него хорошо развито чувство юмора.

Мне было видно, как крестьянин на буйволе задержался на перекрестке и повернул направо, где буйствовал и веселился еще один кордон «поливальщиков».

Но ведь было жарко. Наступал Новый год.

ПРАЗДНИК

струи воды, льющейся с обочин, где выстроились кордоны мальчишек. На грузовиках и «джипах» снуют счастливые владельцы «мобильных бочек».

Но Тинджан — это не только всеобщая баня. В Рангуне по центральным улицам и на площади у Суле-пагоды движутся процессии разукрашенных машин — каждая везет танцоров, музыкантов. Одна загримирована под золотую птицу, вторая — дракон, третья — королевская ладья. Идет последнее в этом году соревнование самодеятельных групп — ведь с завтрашнего дня начнется пост и уже нельзя будет веселиться и танцевать до самого фестиваля огней.

Это в Рангуне. В других городах у Нового года свои особенности. В Моулмейне он длится не три дня, а четыре. А в городах Аракана Тинджан лишен рангунского разгула, зато там сохранились красивые древние традиции. В этой приморской провинции на улицах устанавливаются длинные деревянные ладьи, полные воды. Вдоль ладей выстраиваются девушки в лучших нарядах. А молодые люди становятся с другой стороны ладьи, и начинается игровая «война» — черпай воду ладонью и брызгайся в свое удовольствие. Главное, правильно выбери позицию: напротив какой девушки встать.

...Мы выехали к мосту через железную дорогу. Впереди лежал центр Рангуна.

— К Суле-пагоде? — спросил Ко Тин Шве.

— Давай. Посмотрим на процессию.

Впереди стоял кордон из молодых людей решительного вида. По обе стороны дороги, замыкая их цепь, возвышались две солидные железные бочки. Машины, доехав до кордона, покорно тормозили, и пассажиры их терпеливо выносили тщательное, без дураков, обливание с ног до головы. Подходила наша очередь. Мы решили так легко не сдаваться.

Тут откуда-то со стороны к кордону медленно вышел ленивый, громоздкий буйвол. Его толстые, чуть загнутые рога лежали на толстой шее. На буйволе восседал крестьянин, голый по поясу. Его голова была обмотана как тюрбаном розовым махровым полотенцем. Появление





Тут экзекутор прервал свое движение и стал шепотом яростно выговаривать служителю, который забыл снять чехлы с кресел в малой гостиной. Сделав надлежащий выговор — строгость нужна, строгость! — экзекутор подошел к дверям, ведущим в зал заседаний. Остановился. Прислушался. Впрочем, напрягать слух ему не пришлось, ибо низкий бас докладчика гудел, как тяжелый колокол.

— Россия природой поставлена в исключительные условия, — услышал старый экзекутор, — почти все ее моря замерзают зимой, а Ледовитый океан покрыт льдом и в летнее время. Между тем туда впадают главнейшие реки Сибири, и туда мог бы идти весь сбыт этой богатой страны. Если бы Ледовитый океан был бы открыт для плавания, то это дало бы весьма важные выгоды. Ледовитый океан заперт, но нельзя ли его открыть искусственным путем?..

С. СЕМАНОВ

«ЕРМАК» ВСТРЕЧАЕТ ЛЬДЫ

На набережной Невы тускло мерцают газовые фонари. Над городом висит тяжелый туман, с крыш капает. Весна в этом году рано пришла в северную столицу: еще только 12 марта, а невиский лед потемнел, у опор мостов образовались огромные полыньи. У спусков к реке на набережной дежурят полицейские и дворники: пешеходное движение через Неву уже сделалось опасным и было запрещено — лед тонок.

Около здания Российской императорской академии наук — необычное оживление. Подъезжают извозчичьи пролетки, кареты. Солидные господа поднимаются по высокой наружной лестнице к тяжелым дверям. То и дело мелькают генеральские лампасы, прошло и несколько элегантных дам (впрочем, генералов было больше, нежели дам). Сняв в швейцарской шубы и шинели, господа, переговариваясь меж собой, поднимаются по широкой внутренней лестнице на второй этаж.

Движение по лестнице стихает. Пришедшие собираются в конференц-зале. Вот последний раз закрылась нарядная, белая дверь, обильно покрытая резьбой и позолотой. Комнаты перед залом пустеют. Экзекутор Академии, сухой, сутулый старик с длинными седыми бакенбардами, озабоченно проходит по пустым комнатам. Смотрит, все ли в порядке, нет ли где каких упущений. Шутка ли — конференция Академии. Да еще столько гостей... Видно, важное заседание.

При посредстве ледоколов мы можем поддерживать сообщение с Енисеем в течение всего лета. Теперь это производится случайными рейсами один раз в год, и для поощрения этих рейсов предпринимателям дают некоторые таможенные льготы. При посредстве ледоколов рейсы на Енисей можно поставить на правильный фундамент и вести их регулярно...

Ни одна нация не заинтересована в ледоколах столько, сколько Россия. Природа заковала наши моря льдами, но техника дает теперь огромные средства, и надо признать, что в настоящее время ледяной покров не представляет более непреодолимого препятствия к судоходству...

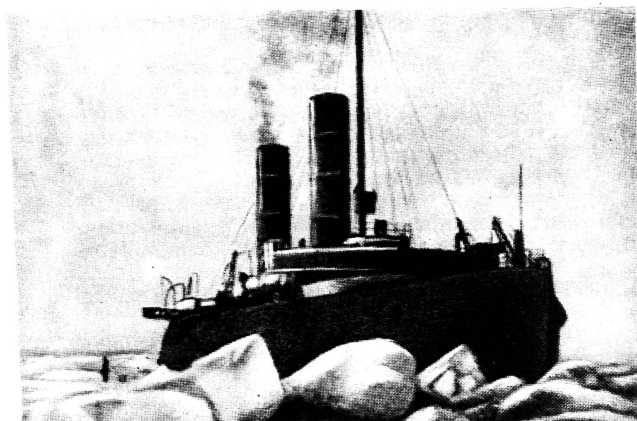
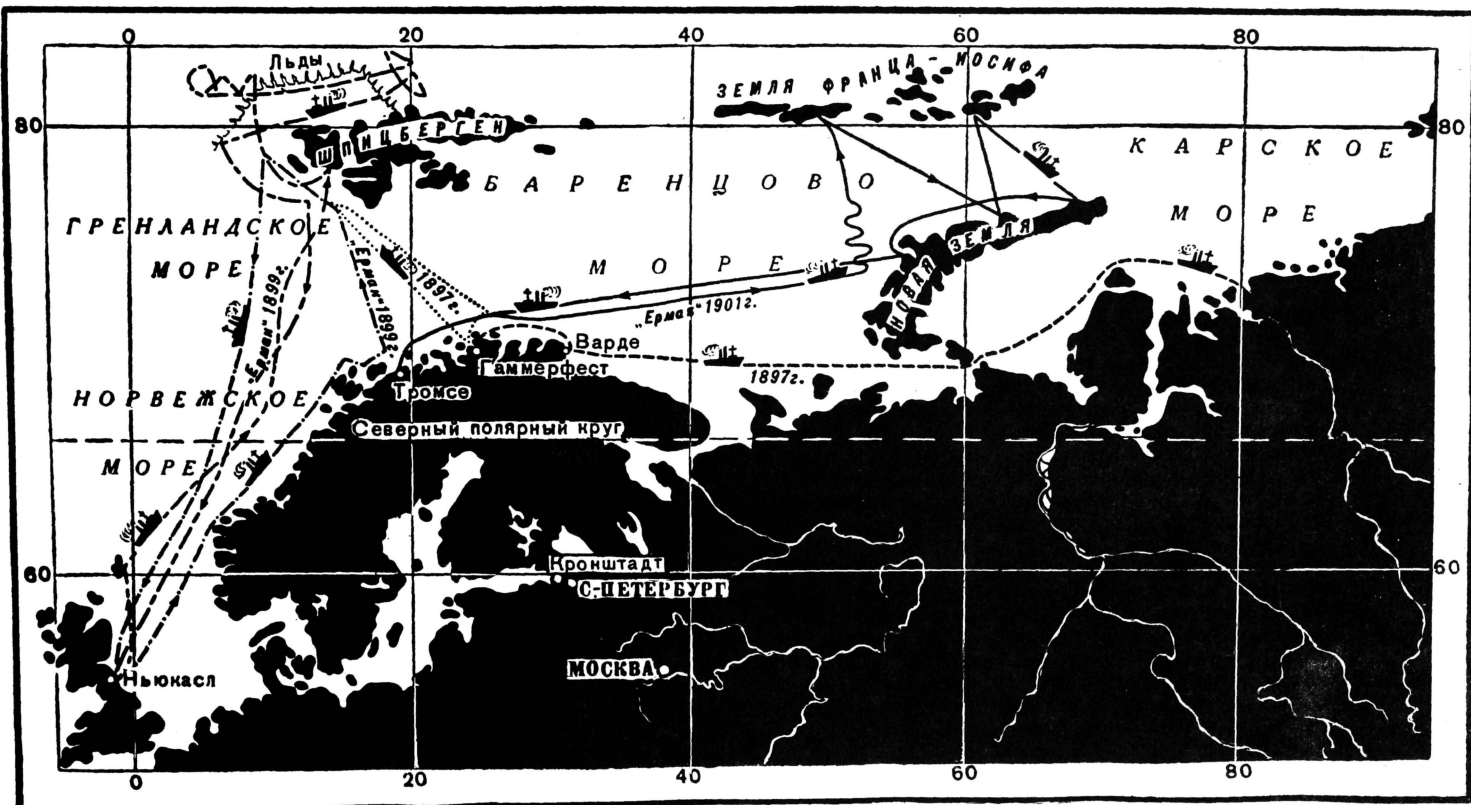
Голос за дверью умолк, в зале зашестелели аплодисменты.

...Теперь все спускались по лестнице. Экзекутор видит, как в центре оживленно переговаривающейся группы идет академик Рыкачев, председательствовавший на собрании, высокий, с пышными усами, в генеральском мундире. Собеседник Рыкачева в черной морской форме, на золотых погонах по два орла: вице-адмирал. Это и есть сегодняшний докладчик, Макаров. А слева от Макарова — это (ну кто же его не знает!) Дмитрий Иванович Менделеев.

I

Идея о покорении полярных морей занимала Макарова уже давно. Позднее он рассказывал Ф. Ф. Врангелю с обычной своей любовью к точности: «Мысль о возможности исследования Ледовитого океана при посредстве ледоколов за-

Глава из книги «Макаров», выходящей в издательстве «Молодая гвардия» в серии «Жизнь замечательных людей».



родилась во мне еще в 1892 году, перед отправлением Нансена в Ледовитый океан». «Однажды, — вспоминает Ф. Ф. Врангель, — зимой 1892 года мы со Степаном Осиповичем выходили с заседания Географического общества. Макаров вдруг остановился и сказал:

— Я знаю, как можно достигнуть Северного полюса, но прошу вас об этом никому не говорить: надо построить ледокол такой силы, чтобы он мог ломать полярные льды...»

В 90-х годах прошлого столетия во всем мире мысль о достижении Северного полюса вызвала огромный энтузиазм. Всеобщее внимание привлекла экспедиция норвежского ученого Фритьофа Нансена в Ледовитый океан. Экспедиция эта принадлежит к числу самых знаменитых в истории покорения полюсов. Нансен сконструировал специальный пароход (его назвали «Фрам»), способный выдерживать давление льдов. Это не ледокол, о котором мечтал Макаров. Корпус «Фрама» был устроен так, что льдины, сжи-

мая корабль с разных сторон, не ломали борта, а как бы выталкивали корабль из воды на ледяную поверхность. Нансен рассчитывал, что океанские течения сами понесут льдину со вмержшим в нее кораблем до Северного полюса. В 1893 году смелая экспедиция началась. Достичь полюса не удалось: «Фрам» дрейфовал значительно южнее. Тогда Нансен с одним лишь спутником предпринял отчаянную попытку пройти к полюсу на собачьих упряжках. И это не удалось: кончились запасы, пришлось повернуть обратно...

Неудача? Нет, это был грандиозный успех. В 1896 году чудом уцелевшего Нансена с восторгом встречал весь мир. Первый шаг к Северному полюсу был сделан. Дорога проложена. С тех пор «полярная» тема на страницах газет и журналов сделалась самой модной. Готовились новые экспедиции на Север.

Макаров — моряк, ученый — отлично понимал, какое значение имеет покорение Ледовитого



океана. В записке, поданной адмиралом в Морское министерство, утверждалось: «Большой ледокол мог бы сослужить огромную службу в Ледовитом океане для поддержания сообщения с реками Обь и Енисей и для поддержания всяческих работ в этих местах как по задачам коммерческим, так и научным».

Министр же украсил записку Макарова следующей резолюцией: «Может быть, идея адмирала и осуществима, но так как она, по моему мнению, никоим образом не может служить на пользу флоту, то и Морское министерство никоим образом не может оказать содействие адмиралу денежными средствами, ни, тем более, готовыми судами, которыми русский флот вовсе не так богат, чтобы жертвовать их для ученых, к тому же проблематических задач».

...В течение февраля состоялось еще несколько встреч со специалистами, и постепенно их осторожные возражения слабели, а «за» становилось все тверже.

12 марта в конференц-зале Академии наук состоялось большое собрание. Присутствовали не только академики и ученые, но и множество заинтересованных лиц самого различного рода и звания — идея покорения Арктики увлекла многих. Теперь Макаров выступал уже не перед узким кругом специалистов. И он произнес не строгий специальный доклад, а речь-призыв, речь-обращение.

Доклад Макарова имел шумный успех. Текст доклада был сразу же издан Академией наук в виде отдельной брошюры. Тем же успехом сопровождался выступление Макарова в Географическом обществе и в Морском собрании. Словом, общественную поддержку он получил, ученые одобрили его идею.

Дело оставалось за малым: нужно было построить хотя бы один мощный ледокол. Увы, собрать полтора миллиона рублей русские ученые не смогли (а именно в такую сумму обошлось впоследствии создание знаменитого «Ермака»).

В распоряжение адмирала предоставили лишь небольшой пароход «Иоанн Кронштадтский» с разрешением провести краткую экспедицию к устьям сибирских рек.

Макаров собрался в путь немедленно.

II

14 июля 1897 года из норвежского порта Хаммерфест Макаров повел свой небольшой пароходик в Карское море. Вместе с ним шло еще несколько грузовых судов. Цель — устье Енисея. Экспедиция проходила в обстановке, необычайно удачной для движения судов: в навигацию 1897 года условия плавания в арктических морях были на редкость благоприятны, льды отступили далеко на север, и караван за несколько дней без всяких помех дошел до устья Енисея. Но Макаров был, видимо, единственным человеком среди всех участников плавания, которого удручало подобное течение дел. И понятно: никакого опыта прохождения через ледовое пространство он не получил. Макарову пришлось на сей раз довольствоваться лишь рассказами бывалых полярников.

Тем временем общественное движение в пользу освоения Северного морского пути приобрело в России поистине общенациональный размах. Об этом писала пресса, множество людей со всех концов России сообщали Макарову или в редакции газет о своей поддержке. Сибирская

экспедиция Степана Осиповича, о которой так же много говорилось и писалось, еще раз подтвердила: нельзя медлить с освоением этого богатейшего края. И Макаров победил! Правительство выделило три миллиона рублей.

В ту пору военное судостроение получило в России высокое развитие, наши крейсера и броненосцы были не хуже, а кое в чем и лучше европейских. Гораздо слабее развивалось судостроение гражданское. Вот почему заказ на создание нового мощного ледокола пришлось отдать известной британской судостроительной фирме «Армстронг и Витворт».

В феврале 1899 года Макаров поднял на ледоколе коммерческий флаг.

...В ту зиму лед был необыкновенно тяжелым, толщина его доходила до метра. Утром 1 марта Макаров, стоя на мостике «Ермака», с волнением наблюдал, как приближается кромка сплошного льда. Все тоньше и тоньше делается просвет чистой воды между носом корабля и неподвижным ледяным полем. Сможет ли «Ермак» выполнить свою задачу? Хватит ли сил у машин? Выдержит ли корпус? И вот настал миг первого испытания. Легкий толчок — и могучий корабль плавно продолжил свое движение среди ледяного покрова. Треск и скрежет ломаемых льдин не заглушали горячего «ура!», прогремевшего над «Ермаком». Некоторое время ледокол продвигался очень легко и со сравнительно большой скоростью — 7 узлов (13 километров в час). Но в районе острова Готланд корабль неожиданно остановился: ледяное поле, лежащее перед ним, оказалось слишком тяжелым...

На всех, в том числе и на Макарова, это произвело удручающее впечатление, особенно после первых легких успехов. «Ермак» попятился назад, а затем на большой скорости ударил носом в лед, потом еще и еще раз, — продвижения вперед почти не было. Пришлось обойти это труднопроходимое место. Лишь потом, набравшись опыта, Макаров и экипаж «Ермака» поняли, что подобный маневр отнюдь не должен быть расценен как неудача, что существуют столь мощные напластования льда, которые не в силах преодолеть никакой ледокол.

2 и 3 марта «Ермак» уверенно и спокойно двигался через замерзший залив к Кронштадту. Ледяная поверхность была отнюдь не пустыня, напротив, множество рыбаков занимались тут своим промыслом. На льду чернели их кибитки, сани, запряженные лошадьми. Увидев такое чудо — пароход, шедший по льду, — рыбаки кидались к «Ермаку» с криками «ура!», иные по нескольку верст бежали за ледоколом, наблюдая, как он работает (Макаров даже опасался, не случилось бы какого несчастья, но все обошлось). Около Толбухина маяка, недалеко от Кронштадта, на корабль прибыл лоцман. «Мне еще первый раз случалось видеть, — заметил Макаров, — что лоцман подъезжает вплоть к борту на лошади».

Все эти дни Кронштадт жил в волнении: сумеет ли «Ермак» пробиться через ледяные поля или нет? И вот пришла весть — приближается! Все население вышло навстречу медленно подходившему ледоколу. Рота Каспийского полка во главе с самим полковником на лыжах первой приблизилась к «Ермаку». Под крики «ура!» и общие восторженные поздравления всю роту взяли на борт корабля.

Макаров собирался сразу же следовать в сто-

лицу, но ему срочно пришлось менять планы. Неожиданно поступило тревожное известие: в районе Ревеля одиннадцать пароходов затерты льдами и терпят бедствие. Помощь требовалась немедленно. Снялись с якоря утром 9 марта. «Ермак» вновь пересек замерзший Финский залив, на этот раз в обратном направлении. Мощный ледокол за полчаса освободил корабли из плена и вошел в Ревель, ведя за собою, как на параде, все одиннадцать спасенных пароходов. И вновь толпы восторженных людей, оркестры, депутации...

III

Итак, весной 1899 года Макаров переживал триумф. Однако во всем этом шумном фейерверке слышались явно фальшивые ноты чрезмерно высокого тембра. Восторженные надежды доходили порой просто до абсурда. Например, многие считали, что теперь можно будет плавать из Архангельска во Владивосток через Северный полюс по линии прямой, как железная дорога между Москвой и Петербургом. Некоторые даже советовали отправлять с «Ермаком» письма во Владивосток. Дойдут, мол, быстрее.

Разумеется, Макаров не имел никакого отношения ко всем этим нелепым восторгам. Он считал даже необходимым тогда же гласно охладить эту явно нездоровую горячность. Имея в виду экспедицию Норденшельда, который на небольшом судне прошел вдоль берега Северной Сибири, Макаров указывал, что экспедиция «Ермака» по тому же маршруту будет не легче, а опаснее, ибо его корабль слишком велик для плавания в прибрежных водах, где летом лед гораздо меньше, а напор его слабее, чем в открытом морском пространстве.

Но его трезвому голосу тогда никто не внял. «Скромнен наш герой-то», — улыбались одни. «Цену себе набивает, выскочка», — брюзжали иные.

8 мая «Ермак» готовился покинуть Кронштадт. Предстояло первое полярное испытание.

К началу июня без всяких происшествий корабль подошел к району Шпицбергена и взял курс на зону сплошных арктических льдов. Все время велись научные исследования: измерялись глубины, температуры воды и воздуха, толщина и структура в изобилии плавающих здесь льдин.

Все, однако, жили одним чувством: когда же,

когда покажутся настоящие, арктические льды. И вот... В пять часов утра 8 июня Макарова разбудили: впереди лед. Адмирал немедленно поднялся на мостик. Повсюду, насколько хватало глаз, простиралось бесконечное поле синего полярного льда. Дул ветер. Черные холодные волны с грохотом разбивались о льдины. Макаров приказал идти вперед. Потом снял шапку и широко перекрестился...

«Ермак» с ходу малег на край ледяного поля. Раздался оглушительный треск. Корабль содрогнулся, однако продолжал движение: огромная льдина раскололась, и обе половины ее медленно, как бы нехотя, раздвигались перед носом ледокола, образуя узкую полосу воды. «Ермак» с трудом прокладывая себе путь. Лед ломался сравнительно легко, но корпус корабля оказался недостаточным прочным. Вскоре от толчков и сильной вибрации в носовой части появилась течь. И Макаров понял: дальнейшее упорство в продвижении вперед бессмысленно и опасно. Он приказал лечь на обратный курс.

IV

Ремонтные работы в Ньюкасле продолжались почти месяц. Наконец 14 июля 1899 года «Ермак» снова вышел в полярное плавание.

Утром 25 июля показались первые крупные льдины. Маневрируя между ними, «Ермак» продолжал двигаться на север. Шли довольно быстро. Вскоре чистой воды почти не стало, и ледокол пошел напрямик. Трюмный машинист все время осматривал носовое отделение: все боялись, не появится ли течь в корпусе. Нет, пока все обстояло благополучно.

Макаров и капитан «Ермака» Васильев неотлучно находились на мостике. Лед делался все более тяжелым, показались первые торосы. Число и величина их возрастали по мере продвижения «Ермака» на север. В 8 вечера впереди по курсу на близком расстоянии обнаружили мощный торос. Обойти его было невозможно, остановить тяжелый ледокол — поздно. Раздался резкий толчок, нос «Ермака» отбросило влево, и корабль остановился.

Впоследствии установили, что «Ермак» столкнулся со льдиной, которая уходила под воду на глубину 10 метров. Серьезное препятствие, что и говорить. Однако пробоина оказалась не слыш-

ДРЕВНЕЙШИЕ КАМНИ ЗЕМЛИ

Как показали работы сотрудников оксфордской лаборатории изотопной геологии, в Гренландии найдены древнейшие горные породы Земли. Датировка образцов гнейса из западного района Гренландии показала, что возраст горных пород... около 3 миллиардов 980 миллионов лет.

Согласно теоретическим расчетам именно на рубеже 4 миллиардов лет происходило отверждение

земной коры после ее расплава, вызванного первичными радиоактивными элементами.

ВЕНЕРИАНСКИЕ ГОРЫ

Мощная атмосфера, температура порядка 600 градусов заставляла предполагать, что поверхность Венеры более сглаженная, чем поверхность Земли и Марса. Эту точку зрения до сих пор как будто подтверждали и локационные исследования.

Топографическое изучение Венеры с помощью радиолокации, завершенное недавно американскими учеными, дало, однако, совсем иной результат. На Венере открыт горный район протяженностью не менее 500 километров по широте и 6 тысяч километров по долготе. По мнению исследователей, особенно примечательна одна горная вершина, высотой порядка 3 километров; восточный ее склон в отличие от западного весьма крут.

На других участках Венеры, очевидно, есть и другие остроко- нечные горы, которые пока не удалось выявить.

ЗАГАДКИ ПРОЕКТЫ ОТКРЫТИЯ

ком опасной. Подвели пластырь, откачали воду. Затем несколько дней простояли на месте, пока залатали дыру в корпусе. Залатали, разумеется, на живую нитку.

Макаров тем не менее пошел на риск. «Ермак», густо дымя своими высокими трубами, медленно, но настойчиво вновь начал продвигаться на север.

Все помнили, что в носу ледокола зияет плохо заделанная пробоина. Приходилось осторожничать и адмиралу: он ведь нес ответственность и за корабль, и за людей. А льдины были гигантские, в длину достигали нескольких километров. И вот Макаров записывает: «Боялся с пробиной судном ударять с большого хода». Боялся... Это слово крайне редко встречается в макаровском лексиконе.

Вновь и вновь «Ермак» пытался пройти на север, ломая льдины и обходя мощные торосы, возвышавшиеся порой вровень с палубой. Однако каждый дальнейший шаг давался ледоколу все с большим и большим напряжением. И тогда Макарову окончательно стало ясно: далее на север «Ермак» пробиться не сможет...

V

Экспедиция возвратилась в Ньюкасл. С прищущей ему прямотой и откровенностью Макаров сообщил правительству о всех трудностях полярного плавания. Немедленно последовала телеграмма: оставаться в Ньюкасле, ждать комиссии. С необычной быстротой прибыла и сама комиссия. Во главе ее стоял паркетный адмирал А. А. Бирилев, давний и откровенный враг Макарова. В эти дни Степан Осипович с нескрываемой душевной болью сообщал Ф. Ф. Врангелю: «Вы пишете, что я не люблю сознаваться в своих ошибках. Боюсь, что это, к сожалению, не так. Говорю, к сожалению, ибо эта откровенность мне теперь повредила... Мне бы послать телеграмму: «Ермак» отлично разбивает лед, подробности везу лично». Это было бы подло, но умно, потому что моей телеграммой я дал моим врагам случай организовать комиссию, и теперь еще вопрос, как я с ней рассчитаюсь».

Опасения Макарова оправдались. В заключении комиссии скрупулезно перечислялись все недостатки «Ермака». Нельзя не признать, что многие из них были указаны справедливо (например, слабость корпуса), но весь следственный тон этого документа отличался крайним пристрастием и недоброжелательностью. Бирилев и его присные ставили своей целью не помочь делу арктических исследований, а навредить Макарову. Им это удалось. «Ермак» был отозван в Балтийское море.

Началась долгая и изнурительная война, где оружием служили бумага и выступления в различного рода заседаниях и комиссиях. В течение последних месяцев 1899 года — того самого года, который так хорошо начался и так несчастливо заканчивался, — Макаров исписал великое множество бумаги. Он, как заправский департаментский сутяга, занимался бумажной борьбой с бумажными же противниками. А что было делать? Махнуть на все рукой и удалиться в гордом одиночестве (или в сопровождении верных последователей, что, в сущности, одно и то же)?

Неизвестно, чем бы кончилась бумажная борьба «в инстанциях», но здесь сказала свое веское слово сама живая практика. И сказала в пользу Макарова.

В начале ноября 1899 года на Балтике неожиданно ударили сильные морозы. Финский залив замерз, множество судов безнадежно застряли во льду. Судовладельцы слали в Министерство финансов и самому Макарову отчаянные телеграммы. Хуже того: тяжелый крейсер «Громобой» сел на мель между Кронштадтом и Петербургом и под давлением льдов дал течь. И вновь «Ермак» снялся с якоря и устремился на помощь судам, затертым льдами. «Громобой» удалось освободить довольно легко. Однако это оказалось только началом. В ту зиму неудачи словно преследовали русский военный флот. Не успел «Ермак» закончить дело с крейсером, как была получена срочная телеграмма: броненосец «Генерал Апраксин» на полном ходу наскочил на камни у острова Готланд. Макарову предписывали спасти корабль. Задача была нелегкая. Броненосец много тяжелее ледокола. Остров Готланд — место глухое, пустынное, там не то что мастерских, а и дома-то приличного нет. А ведь мало расколоть лед и стащить каким-то образом корабль с мели, требуется еще заделать пробоину. И привести поврежденный броненосец сквозь лед на базу.

Когда «Ермак» подошел к Готланду, положение «Апраксина» сделалось уже критическим. На том злосчастном месте, где застрял броненосец, проходило сильное морское течение. Напор льдов был так велик, что треск стоял над пустынным островком. Началась упорная борьба за спасение гибнущего корабля. Длилась она не один день и даже не один месяц. В течение зимы «Ермак» четыре раза ходил через лед в Кронштадт и шесть раз в Ревель: нужно было подвозить оборудование, топливо, эвакуировать больных. Наконец «Апраксин» удалось стащить с мели. Огромную пробоину кое-как заделали. Семь часов подряд, как заботливый поводырь, бережно вел «Ермак» тяжелый броненосец через замерзший залив. И благополучно привел в порт.

Это был большой и неоспоримый успех, ибо судьба крупного боевого корабля висела на волоске. Макаров не преминул заметить по этому поводу в одном из своих сочинений: «Броненосец «Генерал-адмирал Апраксин», стоящий четыре с половиной миллиона, был спасен ледоколом «Ермак», который одним этим делом с лихвой окупил затраченные на него полтора миллиона». Успех «Ермака» был столь очевиден, что власти опять сменили гнев на милость, и Макаров с Васильевым получили несколько лестных поощрений.

И весной 1900 года было решено, что исследования Арктики на «Ермаке» будут продолжены.

VI

Маршрут новой экспедиции был утвержден следующий: следовало пройти мимо северной оконечности Новой Земли и далее через Карское море к устью Енисея и обратно. 16 мая «Ермак» вышел из Кронштадта навстречу полярным льдам.

Плавание с самого начала проходило в неблагоприятных условиях. В двадцатых числах июня ледокол подошел к Новой Земле. Обычно море здесь в такое время года свободно ото льда, но на сей раз ледовая обстановка в этой части Баренцева моря оказалась необыкновенно тяжелой. Чистой воды почти не было, и «Ермак» с тру-

дом прокладывал себе путь. Однако Макаров не желал отступать. Он приказал пробивать лед «с набега». Огромный корабль на полном ходу врзался в льдину. Треск, грохот... «Ермак» продвинулся на 30 метров. Новый удар — продвижение метров на 6, не больше. Еще удар — и продвижение вперед почти нет... Позднее Макаров так объяснял причину этого явления: «Лед, который изломан, обращается в песок или ворох снега и образует подушку. Вся сила удара тратится на преодоление трения об эту подушку и на ее деформацию, и когда нос приблизится к сплошному льду, то запаса силы уже почти не остается».

Что только не предпринимал Макаров в своем стремлении прорваться вперед! На лед лили горячую воду. Забивали якорь в лед впереди корабля и подтягивались на канате. Ломали льдины вручную и оттаскивали их в сторону, чтобы повернуть корабль. В этих тяжелых трудах принимала участие вся команда, включая ученых и даже самого адмирала. Но положение с каждым днем становилось хуже, и наконец «Ермак», израсходовав огромное количество угля, остановился среди ледяного поля. Всякое продвижение сделалось невозможным.

Итак, «Ермак» был затерт льдами. Положение экспедиции становилось угрожающим.

Явственно назревала опасность зимовки во льдах. В предвидении этого был уменьшен рацион, подготовлялась группа из нескольких человек, чтобы пешком добраться до Новой Земли и передать вести о «Ермаке» на родину. И вдруг 6 августа льды стали быстро расходиться, а вскоре корабль уже шел полным ходом. Но время было потеряно, а запас топлива угрожающе сократился. И во изменение первоначального плана — достигнуть устья Енисея — Макаров приказал взять курс к Земле Франца-Иосифа — пустынным и мало изученным островам, куда никогда еще не заходил ни один русский пароход.

В конце августа 1901 года ввиду неблагоприятной погоды экспедиция раньше срока повернула обратно. С тяжелым сердцем приближался Макаров к родному Кронштадту. Он знал, найдется достаточно людей, которые не захотят понять, что Ледовитый океан — это не Маркизова лужа, что материалы, собранные экспедицией в тех неведомых краях, исключительно ценны, а приобретенный практический опыт сослужит огромную пользу последующим русским полярным плаваниям. «Вся ответственность как за мою мысль, так и за ее исполнение лежит на мне одном», — писал Макаров. И все неудачи экспедиции он готов был принять на себя. Ледокол? Он полностью оправдал свое назначение. Команда? Она вела себя превосходно. Но теперь Макарова не хотели слушать.

13 октября 1901 года Министерство финансов распорядилось: «1) ограничить деятельность ледокола «Ермак» проводкою судов Балтийского моря и 2) передать ледокол в ведение Комитета по портовым делам с освобождением вице-адмирала Макарова от лежащих на нем ныне обязанностей по отношению к опытным плаваниям во льдах...»

И все. Ни благодарности, ни признания заслуг.

Смерть помешала Макарову продолжить борьбу за освоение Арктики. Он не успел даже издать материалов третьего полярного плавания.

Его унижительно отставили от им же начатого дела. А главное — само-то дело забросили. Через несколько лет, после несчастного исхода русско-японской войны, Менделеев с горечью скажет: «Если бы хоть десятую долю того, что было потеряно при Цусиме, затратили на достижение полюса, эскадра наша, вероятно, пришла бы во Владивосток, минуя и Немецкое море, и Цусиму».

История давно уже воздала должное подвижническому служению Макарова Арктике. Его дело в конце концов оказалось в надежных руках. И следует привести здесь слова его друга Ф. Ф. Врангеля, пророчески сказанные еще в 1913 году: «Сдается мне, что когда в близком будущем обновленная Россия развернет во всей своей мощи неисчерпаемые силы ее народа, использует непочатые сокровища ее природных богатств, то смелая мысль русского богатыря Макарова будет осуществлена...»

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

«Ермак» надолго пережил своего создателя. И не только потому, что конструктивные решения, найденные при проектировании «Ермака», нашли широкое применение в мировом ледоколостроении, сделав детище адмирала С. О. Макарова прообразом многих последующих типов ледоколов. Сам замысел оказался столь своевременным и необходимым Российскому государству, что никакие «льды» чиновничьей косности не могли уничтожить его...

Уже через несколько лет после отстранения С. О. Макарова от ледокольного дела была разработана программа строительства ледоколов различных назначений и мощности.

Некоторые из ледоколов, построенные в тот период, в частности наиболее мощный из них ледокол «Красин», в десять тысяч лошадиных сил, получили заслуженную известность своими плаваниями в арктических морях.

Качественно новый этап ледокольного дела в России начался после Великой Октябрьской революции. Уже в годы первых пятилеток, когда началось планомерное экономическое и транспортное освоение Крайнего Севера и Арктики и систематические плавания в арктических морях, было построено четыре ледокола мощностью по десять тысяч лошадиных сил. Вместе с ледоколами «Ермак» и «Красин» они долгое время служили основой советского ледокольного флота. В конце 50-х годов было положено начало строительству новых мощных дизель-электрических ледоколов типа «Москва» в Финляндии мощностью по 26 тысяч лошадиных сил и был введен в эксплуатацию первый в мире ледокол с атомной энергетической установкой — ледокол «Ленин».

Вместе со своими могучими «сыновьями» работал и «Ермак». Он участвовал в легендарном ледовом походе Балтийского флота из Ревеля и Гельсингфорса в Кронштадт в феврале — апреле 1918 года, когда только помощь «Ермака» позволила кораблям пробиться через льды Финского залива. Потом он много лет работал по обеспечению осенней и весенней навигации в Ленинградском порту; с 1934 года «Ермак» проводил суда в Карском море; в феврале 1938 года участвовал в снятии со льда у восточных берегов Гренландии героической четверки папанинцев; в последующие годы ледокол «Ермак» неизменно участвовал во всех арктических навигациях, а зимой нередко выполнял свою старую работу по поддержанию навигации в Финском заливе; в 1938 году он установил рекорд свободного плавания во льдах, достигнув 83°06' с. ш.

В 1949 году «Ермак» был награжден орденом Ленина. Свой длинный и славный трудовой путь «Ермак» закончил в 1964 году. Но по старой морской традиции его имя будет носить новый дизель-электрический ледокол мощностью около 40 тысяч лошадиных сил, головной корабль новой серии ледоколов.

Пройдут долгие годы, и на смену ледоколам сегодняшнего дня придут новые, более мощные, еще более совершенные, и опять новый «Ермак» будет нести свою нелегкую ледовую службу.



Если бы можно было вернуться на двадцать лет назад...

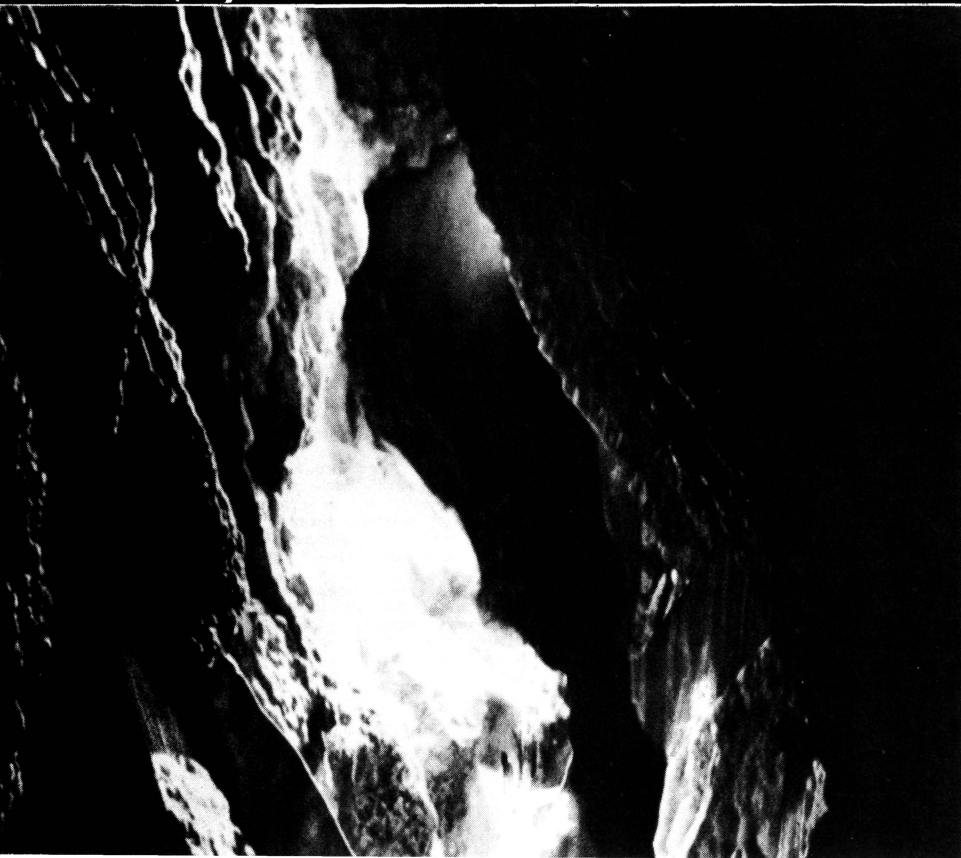
1 октября 1902 года Эмиль Каргальяк и Анри Брейль — крупнейшие исследователи культуры каменного века — со свечами в руках стояли у скрытой низким кустарником, темной расщелины, ведущей в пещеру Альтамира. Двадцать лет назад услышали археологи это название. Двадцать лет назад держал в своих руках Каргальяк тоненькую — на двадцать восемь страниц — брошюру археолога-любителя Марселино де Саутуола, в которой он описывал быков и бизонов, нарисованных на сводах этой пещеры рукой человека древнекаменного века.

Тогда, двадцать лет назад, эта брошюра стала предметом насмешек, и стена презрительного осуждения на двадцать лет окружила одно из величайших открытий исторической науки. И Каргальяк был одним из строителей этой стены.

О чем он думал теперь, стоя со свечой в руке перед пещерой, о чем говорил перед этим с Мари-

Б. ФРОЛОВ,
кандидат исторических наук

ДЕЛО об АЛЬТАМИРЕ



ей, дочьню безвременно скончавшегося Саутуола, когда просил ее о прощении за величайшую несправедливость к отцу и его открытию? Этого мы не знаем. Но перед нами статья Каргальяка «Раскаяние скептика», отчеты научных заседаний, воспоминания, документы тех лет. И постепенно вырисовывается сложная система отношений — научных и личных, которую невозможно объяснить чем-то одним, каким-то единым обстоятельством.

...Казалось бы, куда как просто было проверить сообщение Саутуола. Надо было просто приехать в Сантандер, где была расположена пещера Альтамира, — обжитую, легкодоступную местность — и на месте посмотреть — прав ли Саутуола. Но все неожиданно и сложно запуталось... Однако по порядку.

В 1878 году дон Марселино де Саутуола, страстный любитель древностей, побывав на Всемирной выставке в Париже, осмотрев эк-

спонировавшиеся здесь в особом разделе о доисторических людях материалы из раскопок французских археологов, был особенно поражен миниатюрными изображениями зверей, выгравированных на кости и камне людьми древнекаменного века.

(Как видим, сам факт изобразительной деятельности людей древнекаменного века в те годы уже не являлся чем-то необычным. Это был, естественно, удивительный, загадочный, но, по сути дела, признанный факт истории человечества.)

Места находок этих изображений позволяли сделать вывод: подобное может быть и в земле Испании. Возвратившись в Сантандер, Саутуола все свое время посвятил поискам подобных изображений. Особые надежды в нем вызывала пещера Альтамира, открытая за десять лет до этого местным пастухом — еще в 1875 году Марселино произвел первую разведку пещеры, увидел в глубине ее несколько черных рисунков... Но не придал им никакого значения. Мало того, он их и не искал, когда, вернувшись в ноябре 1879 года из Парижа, снова начал разведочные раскопки в пещере. Во время этих раскопок он обнаружил в пещере обработанные орудия из камня, кости, оленьих рогов и следы палеолитического очага. В один из дней он взял с собой шестилетнюю дочь Марию. Ей все здесь было интересно, а рост позволял свободно рассматривать своды пещеры там, где отец мог пройти лишь согнувшись. И именно Мария заметила в этот день на одном из сводов Альтамиры бизонов, нарисованных красной краской. «Торос, торос!» — закричала девочка.

Какое впечатление произвели они в полумраке, освещенные неровным пламенем, эти стопятидесятилетнего возраста быки, — об этом мы ничего не знаем, ибо в брошюре, которую вскоре опубликовал Саутуола, об этом судить нельзя. Но можно сказать с определенностью: эмоциональное потрясение, интуитивное озарение, которое испытал в тот миг Марселино, явилось одним из тех факторов, из которых сложилось открытие.

И его отрицание.

КУРЬЕР «ВОКРУГ СВЕТА». ОТСТУПЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

«...В ходе любого научного открытия всегда в решающий момент выступает на первый план интуиция», — пишет академик В. Кедров.

Но объективные законы науч-

ной информации во многих случаях как бы отсекают от научной общественности этот основной творческий импульс — необъяснимый словами строгого отчета взлет мысли и воображения. Ведь «после того, как истина найдена или открыта, задача, стоящая перед исследователем, сразу и резко меняется — от ее поисков любыми путями и средствами он немедленно переходит к тому, чтобы оптимальным путем довести ее до сведения учебного мира, а главное — убедить этот мир в ее действительной истинности», — продолжает академик В. М. Кедров. И, анализируя историю двух величайших открытий химической науки — открытия Дальтона и Менделеева, — заключает: «Если бы химики, узнавшие об открытии Дальтона или Менделеева, сами проделали хотя бы в основном, в общих чертах, ту работу, которая привела и того и другого к их великим открытиям, то, возможно, как результат проделанной работы, как разгадка того, что вначале лишь смутно витало перед мысленным взором самих первооткрывателей, сделанные ими открытия были бы лучше восприняты научным миром». Но ведь не может же ученый в строгую систему доказательств вставить мысль типа: это так, потому что меня осенило. Интуиция, озарение, сделав свое великое дело, становятся ненужными для доказательств.

...Забегая вперед, скажем, что, когда археологи читали брошюру Саутуолы, перед ними не вставали темные своды Альтамиры, они не видели оживших в отблесках свечного огня красных бизонов, им не дано было испытать то эмоциональное потрясение, которое стало у истоков открытия. Перед ними были просто двадцать восемь страниц текста, написанного неизвестным доселе человеком...

Саутуола понимал, что определить точный возраст изображений Альтамиры ему, любителю, не под силу. И он с удивительной для дилетанта скромностью писал, что всего лишь «обязан подготовить путь более компетентным лицам, которые захотят раскрыть истоки и обычаи первобытных обитателей этих гор». Саутуола, несмотря на свою уверенность, ничего не утверждал — он лишь ставил вопрос, окончательное решение которого он на себя не брал, хотя собранные им тогда же доказательства, как выяснилось спустя двадцать лет, были вполне достаточны для такого решения.

Изучая рисунки, Саутуола пришел к выводу, что автор их должен быть сведущим и талантливым, его рука уверенно вписывала изображения в неровности скал. Пройдя из первого зала пещеры во второй, Саутуола и там увидел рисунки зверей и геометрические фигуры. В слое культурных отложений на полу пещеры он нашел куски охры

того же цвета, каким выполнялись росписи полутора- и двухметровых бизонов. И самое главное — Саутуола после тщательных исследований собрал убедительные доказательства того, что в этих залах со времен древнекаменного века никого никогда не было. Саутуола был убежден, что живопись Альтамиры — следы неизвестной до сих пор деятельности ископаемого человека. Но, повторяем, выснесение окончательного «приговора» он на себя не брал.

Отослав свою брошюру в редакцию французского журнала «Материалы по естественной истории человека» — центрального в то время органа историков первобытности, — Саутуола решил познакомиться с фресками Альтамиры своих соотечественников. Профессор Мадридского университета геолог Виланова, посетив Альтамиру и обнаружив в контрольных шурфах культурного слоя пещеры, в том числе и пещерного медведя, поддержал выводы Саутуолы. Жители Сантандера и ближайших провинций были взволнованы открытием своего земляка. Сведения проникли в прессу — Альтамира стала местом туристского паломничества. Наконец, сам испанский король осчастливил пещеру своим посещением (какой-то расторопный поданный даже вывел поверх одной фрески дымом от факела имя Альфонса XII в память о столь важном событии).

Но Саутуола был достаточно сведущим человеком, чтобы понять — судьба Альтамиры решается не здесь и не королем Альфонсом, а там, в Париже, учеными.

Профессор Картальяк, глава редакции «Материалов», прочел брошюру Саутуолы, где были воспроизведены альтамирские фрески. Впоследствии он вспоминал: «Бесполезно настаивать на моих впечатлениях при виде рисунков Саутуолы — это было нечто абсолютно новое, странное в высшей степени. Я стал советовать. Влияние, которое часто было более счастливым, здесь очень быстро свергло меня в скептицизм: «Будь начеку! С французскими историками первобытности хотят сыграть шутку! — писали мне. — Остерегайтесь испанских клерикалов». ...Картальяк не называет здесь имени человека, оказавшего столь пагубное для открытия Саутуолы влияние. И это был не консерватор от науки, не догматик, но

один из величайших археологов, человек светлого ума и передовых взглядов, ученый, по сути дела, создавший современную первобытную археологию, Габриэль де Мортилье. Именно он написал Карталяку, своему ученику, когда до него дошла весть об Альтамуре: «Карталяк, дружище, будь осторожен. Это фокус испанских иезуитов. Они хотят скомпрометировать историков первобытности».

Фигуры бизонов, созданные десятки тысячелетий назад, неожиданно стали одной из точек приложения мировоззренческих страстей, бушевавших тогда вокруг вопроса о происхождении человека.

КУРЬЕР «ВОКРУГ СВЕТА». ОТСТУПЛЕНИЕ ВТОРОЕ

В истории науки зафиксировано много случаев, когда общественный резонанс, вызываемый открытием, лишь весьма и весьма отдаленно бывал связан с самой сутью открытия.

Да, конечно, открытия глобальные — открытия Галилея, Джордано Бруно, Кеплера, Дарвина и другие подобные им по значению и влиянию на все движение научной мысли своего времени — безусловно, не могли не затронуть области, не связанные непосредственно с открытиями. Но и открытия конкретные, частного на первый взгляд порядка, неожиданно начинают будоражить не только научную, но и общественную жизнь.

...В XVI веке в медицинской науке вспыхнуло обсуждение вопроса о методах кровопускания. Одни медики считали, что кровь следует выпускать из вен, которые ближе всего расположены к воспаленному органу, дабы облегчить его, другие же считали, что это как раз привлекает кровь «к больному органу» и посему следует пускать кровь из отдаленных вен. Казалось бы, вопрос сугубо медицинский, не выходящий за пределы медицинской практики и не затрагивающий никаких «общих» проблем. Но спор этот оказался настолько длительным и ожесточенным, настолько острым идеологически, что участники его вынуждены были апеллировать к римскому папе и королю Карлу V. «Длительность и острота полемики, — пишет доктор медицинских наук Л. Саламон, — нельзя понять, если не учитывать, что метод кровопусканий из прилежащих вен соответствовал рекомендациям Гиппократов и что в средние века принято было «пускать кровь» по методу Галена из противоположных вен. Предложение изменить систему кровопусканий означало правоту «еретика» грека Гиппократов и реабилитацию античной науки, оно означало право науки переосмыслить затверженные догмы. Это был бунт против косных канонов средневековой схоластики».

И тогда, когда чисто конкретное открытие становится точкой приложения общественных интересов, — словно в отрицание хрестоматийно привычных коли-

зий, в которых новое всегда приветствуют передовые умы, а противниками всегда выступают реакционеры и консерваторы, — очень часто истинное открытие поддерживается косностью, а отрицается людьми прогрессивными.

Великий Пастер, например, доказал своими опытами, что самозарождение невозможно. Противниками Пастера выступили яростно, ожесточенно ...атеисты. Они считали, что возможность самозарождения ниспровергает библейский догмат о едином акте божественного творения и четко согласуется с прогрессивной идеей эволюционного развития.

Печальные для Альтамуры слова Габриэлю де Мортилье продиктовала именно такая — интуитивная — боязнь того, что новый факт потребует ревизии прогрессивной концепции, будет на руку консерваторам от науки. Дело в том, что археология древнекаменного века делала лишь свои первые шаги. Палеолитические находки все больше и больше подтачивали библейское воззрение о сотворении мира и человека, делали абсурдной библейскую хронологию. И естественно, церковники моментально воспользовались бы ошибкой исследователей, если бы оказалось, что фрески Альтамуры — подделка. Воспользовались бы для того, чтобы дискредитировать саму науку, столь им опасную.

...«И я остерегся», — признается спустя двадцать лет Карталяк.

Но ведь Карталяк слышал и другие мнения.

Э. Пьетт — также один из крупнейших археологов — писал Карталяку: «Дон Марселино де Саутуола прислал мне свою брошюру... Я не сомневаюсь, что эти росписи могут быть отнесены к мадленской эпохе...» В 1887 году вышла книга палеонтолога Гюстава Шове «Начала гравюры и скульптуры», где также поддержано мнение Саутуолы. А в 1880 году один из сотрудников «Материалов», Эдуард Харле, захотел лично осмотреть нашумевшую пещеру.

Саутуола и его друг Дель Молино с готовностью приняли французского ученого. Харле тщательно осмотрел пещеру.

Основную часть росписей он считал выполненной недавно, «возможно, между двумя первыми визитами Саутуолы, от 1875 до 1879 года». Древними он считал лишь несколько неясных рисунков, но не такими же древними, как палеолитический слой в пещере. Харле приводил три основных доказательства своей правоты.

...Все изображения Альтамуры находятся в крошечной тьме, их не достигает дневной свет. Для создания же фресок требовалось долгое искусственное освещение, чего не мог обеспечить человек ледниковой эпохи. В пещере нет следов применения осветительных средств, например, копти от факелов. В то же время фрески на плафоне Альтамуры написаны с величайшим артистизмом. Автор их играл цветовыми и световыми гаммами, явно старался передать эффекты освещения форм.

...Поверхности пещеры покрыты древними сталактитовыми натеками, росписи нанесены на эти натеки; лишь в нескольких местах (это и было основанием считать их древними) обратная картина: сталактиты покрывают часть фигур — лошади и других животных. Краска росписей влажная, свежая, ее легко снять пальцем. Нельзя представить себе сохранение таких красочных изображений в течение многих веков.

...Охра, которой были нарисованы фрески, встречается не только в палеолитическом слое, но повсюду в этой местности, ею даже обмазывают дома местные жители.

Этим визитом и закончилось изучение феноменов Альтамуры на месте. Последующие оценки складывались в сфере устных споров, которые начались еще до визита Харле, на Всемирном конгрессе антропологов в Лиссабоне в 1880 году. В предпоследний день работы конгресса одна из провинциальных газет северной Испании объявила, что «в этот час» Виланова докладывает в Лиссабоне об Альтамуре. В расписании работы конгресса на 27 сентября действительно значилось посещение пещеры у Сантандера по приглашению профессора Вилановы.

Виланова прибыл на конгресс с пачкой экземпляров своей статьи об Альтамуре в мадридском журнале «Иллюстрация». Он все еще надеялся организовать перед закрытием конгресса экскурсию в Альтамур, которая находилась сравнительно недалеко от Лиссабона, и сразу сник, увидев в кулуарах реакцию — в лучшем случае скептические улыбки — на его первые слова об открытии. Все последующее время работы конгресса Виланова молчал о проекте экскурсии. Участники конгресса недвусмысленно дали понять о своем отношении к «изобретателю Альтамуры». Карталяк демонстративно покинул заседание. Экскурсия не состоялась.

Саутуола и Виланова посылают

книгу и доклад в Берлинское антропологическое общество, их зачитывают 11 марта 1882 года, но они не вызывают никакой дискуссии. 28 августа 1882 года на конгрессе Французской ассоциации поощрения наук в Ла-Рошели Виланова выступил с энергичным протестом против заключения Харле и его поддержки Картальяком. Виланова заявил, что рисунки в отчете Харле не соответствуют действительности. Затем привел аргументы, опровергающие выводы Харле. Испанский геолог подчеркнул, что все изображения, выполненные резьбой и красками, одинаково нанесены на поверхности тех же древних пород, кусками которых в результате обвала был закупорен вход в пещеру до момента ее открытия. Резные линии этих изображений сделаны грубыми кремневыми инструментами, которыми не смог бы работать современный художник, но которые находятся в слое с ископаемой фауной. Более того, в этом же слое на костях четвертичных животных такими же кремневыми инструментами нарезаны ряды линий и даже фигурки зверей. Сделать их могли только древние обитатели пещеры. Для росписей использован простейший красочный материал — размолотые натуральные охры разных тонов без последующей обработки, которой подвергаются краски современных рецептов. Техника исполнения всех наскальных изображений Альтамыры одинакова, поэтому, признавая древними несколько из них, Харле должен перенести это заключение на весь комплекс. О большой его древности говорят несколько случаев перекрытия части изображений прозрачными пластинами сталактитовых натеков, а такие натеки есть в Альтамыре лишь на бесспорно палеолитическом слое, и т. д. Вполне обоснован поэтому был призыв Вилановы разобраться в тех сведениях об обнаруженном феномене, которые Харле не мог донести до своих коллег.

Этот призыв был отвергнут. Почему? Ведь с точки зрения научной аргументации в пользу палеолитического возраста росписей Альтамыры выступление Вилановы было исчерпывающим. Оставался один вопрос — об искусственном освещении Альтамыры. Но ведь вопрос об освещении не очень-то и волновал слушателей. Так почему же были отвергнуты аргументы Вилановы? На этот вопрос можно ответить лишь по косвенным данным — Виланова и его выступление не воспринимались всерьез. Над горячностью геолога просто смеялись: судя по воспо-

минаниям участников конгресса, «Виланова говорил агрессивно и даже яростно, на плохом французском языке, который смешал всех, так же как ворох сомнительных аргументов, перемешанных с несколькими здравыми мыслями, и как обвинения в намеренных ошибках Харле, которыми повергал в еще более громкий смех».

КУРЬЕР «ВОКРУГ СВЕТА». ОТСТУПЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

...Открытое отрицание можно преодолеть в открытом споре. Замалчивание, игнорирование — страшнее, но и в этом случае можно продолжать бой за свою идею, опираясь на ее сторонников. Но как бороться со смехом, который не признает никаких аргументов? С этим самым смехом, который рожден самоуверенностью, ощущением «mundirного», априорного превосходства профессионализма над дилетантизмом? И как часто в истории науки можно видеть примеры этого убийственного смеха, убийственного в прямом смысле этого слова...

В начале прошлого века в родильных домах Европы свирепствовала так называемая «родильная горячка». Число смертных случаев при родах иногда доходило до 30 процентов. Лучшие умы медицинской науки того времени пытались объяснить причины болезни, выдвигались во множестве теоретические построения, объяснявшие этот «бич женщин» то явлениями атмосферными, то космическими, то зависимостью от расположения линий солнечного спектра.

Этой проблемой решил заняться никому не известный молодой венгерский врач Игнац Земмельвейс.

Найти решение ему помог трагический случай. Друг Земмельвейса профессор Колючко порезал во время вскрытия трупа палец и умер. Симптомы, которые наблюдал Земмельвейс у своего погибающего друга, были абсолютно такие же, как и при «родильной горячке». И Земмельвейс понял, что смерть таилась на руках самих медиков, что сами акушеры переносили некие «трупные частицы» от одной женщины к другой. И Земмельвейс предложил революционное решение (сейчас трудно поверить, что это было именно революционное предложение): надо мыть руки перед операцией, а не после, как это делалось тогда! После ряда эмпирических опытов Земмельвейс предложил в качестве антисептической жидкости раствор хлорной извести. Результаты в клинике, где работал Земмельвейс, сказались сразу же. В апреле 1847 года смертность от «родильной горячки» в этой клинике составляла 18,3 процента. В мае Земмельвейс вводит свой метод антисептики. В июне смертность упала до 2,4 процента, в конце года составляла лишь 0,19.

Ситуация была, казалось бы, в десятки раз проще той, в которой оказался Саутуола, — там надо было хотя бы потрудиться приехать и осмотреть пещеру на месте. Здесь же — лишь попробовать мыть руки перед операцией. И все же...

«Земмельвейса сейчас называют «спасителем матерей». Но в то время, — пишет Л. Саламон, — его метод не перенимался, а отчаянные попытки Земмельвейса убедить своих коллег в том, что простой метод позволяет спасти человеческую жизнь, были встречены резкой критикой. Назвать это проявлением ужасающей жестокости — значило бы отделаться словесными отговорками. Нельзя же считать всех критиков Земмельвейса тупыми ретроgrадами. Среди них были Рудольф Вирхов, члены Медицинской академии Парижа, крупнейшие акушеры».

...Все началось со смеха. Дело в том, что Земмельвейс попытался создать теорию на основе своих опытов. Его рассуждения, облеченные в форму новой теории о природе «родильной горячки», вступили в противоречие с общепризнанными в то время положениями о том, что эта болезнь связана с какими-то естественными процессами, возникающими в организме будущей матери. В принципе Земмельвейс был прав. Но только в принципе. Сама гипотеза молодого врача о неких таинственных «трупных частицах» была неправильна и слишком узковидна теоретически. Над научной несостоятельностью теории Земмельвейса светила науки просто потешались.

И если бы Земмельвейс успокоился, неприятие этого открытия ограничилось бы академическими насмешками «генералов науки» над молодым ее новобранцем.

Но Земмельвейс не успокоился. Осознав, что его метод, простейший, практически очевидный, несет избавление от одной из «болезней века», он писал: «Совесть говорила мне, что я должен винить себя в гибели тех — только бог знает их число, — кто умер в результате моей неактивности... Нет, теперь есть только одно средство: сказать правду всем, кого она касается... Стоны умирающих громче ударов моего сердца». Приводя эти слова Земмельвейса, Л. Саламон комментирует их: «Мы слышим здесь голос совести молодого врача, но его коллеги слышали слова страшного обвинения».

Так насмешка над теоретизированиями неопыта обернулась трагедией. Ирония, оберегающая коллегияльную традиционную взглядов от вторжения инакомыслящего ума, защищающая «честь мундира», переросла в преступление перед наукой и одним из ее подвижников. Земмельвейс в конце концов не выдержал, и после тринадцати лет безуспешной борьбы он сошел с ума и умер в психиатрической клинике.

Итак, на конгрессе дискуссии не получилось: какая уж там дискуссия, когда так смешно?! Но обойти молчанием брошюру Саутуолы уже невозможно.

И что-то похожее на дискуссию все же возникает. Но это была странная дискуссия, где критика открытия принимается за аксиому, а аргументация защитников открытия не удостоивается внимания. Росписи Альтамыры объявлены подделкой, беспочвенной фантазией почти без знакомства с ними, умозрительно. Самое поразитель-

тельное в этой истории то, что открытие палеолитической живописи не было чем-то принципиально неожиданным в свете других фактов, накопленных первобытной археологией. Через двадцать лет Картальяка упрекнул: «Это же была явная аналогия миниатюрным фигуркам четвертичных зверей, столь хорошо вам известным. Монументальные росписи, подобные кантабрийским, можно было предсказать заранее, теоретически».

(Вспомним — именно сам факт того, что ископаемые люди занимались изобразительной деятельностью, и натолкнул Саутуолу на мысль искать ее следы в Альтамире.)

Но самое поразительное то, что буквально в год открытия Саутуолы во Франции, в гроте Шабо обнаружены были наскальные гравюры. Копии и фотографии рисунков публикуются в местной печати, затем их посылают в «Материалы». Но к ним отнеслись так же, как к сообщению Саутуолы. Может быть, и здесь сыграл свою роль фактор «вторжения дилетанта» в высокую науку? Нет. Первооткрыватели грота Шабо были профессиональные археологи Л. Широн и Олье де Марешан. Причем открыли они изображения в гроте Шабо независимо друг от друга. Может быть, прав был А. Брейль, который спустя двадцать лет сказал, что «нужно винить лишь значение самих фактов, которые требовали менее спорных и гораздо более многочисленных избыточных доказательств. Их продемонстрировали только через двадцать лет»? Но ведь подобные «избыточные доказательства» были задолго до признания Альтамиры. И все же на них внимания не обратили.

С 1895 года в пещере Ла-Мут, во Франции, археолог и медик Ривьер изучают разные наскальные рисунки ископаемых животных в галерее, закупоренной до того «пробкой» культурного слоя с палеолитическими орудиями. Судьба Альтамиры заставила Ривьера быть предельно осторожным. Ривьер прекратил работу, закрыл вход в пещеру и пригласил Мортилье, Картальяка, Пьетта и других авторитетов осмотреть Ла-Мут. Единодушное мнение высоких гостей: древность наскальных рисунков вне сомнений. «Палеолитическое», — говорит Пьетта и снова вспоминает Альтамиру, ибо мнение о датировке ее живописи мадленской эпохи у Пьетта не колеблется. «Очень древние», — уклончиво говорит Ривьер, не желающий попасть

в положение Саутуолы. Ему не возражают. А через несколько дней возникает слух, что рисунки в глубине Ла-Мут нарисовал один из помощников Ривьера, Бертумейру. В Париже слушок этот принимают за чистую монету. Ривьер бессилен что-либо поправить: кто же ему поверит? Он старается не появляться в столице. Раскопки в Ла-Мут продолжают, и вскоре археологи находят каменный палеолитический светильник. Единственное возражение, которое не могли опровергнуть Саутуола и Виланова, было снято этой находкой. Можно было бы поставить точку в споре, если бы спор был. Факты есть, их уже много, они бесспорны. Но лишь для того, кто хочет с ними знакомиться. А таких людей — единицы! Тулузский книготорговец и археолог Рейно обнаружил в гроте Марсула живопись на скале, сравнимую по технике с росписями Альтамиры. Его сообщение не принимается всерьез. Картальяк отказывается осмотреть грот.

Факты были, но они были за пределами официальной науки.

Вскоре археолог Дало в пещере Пэр-но-Пэр в 1896 году после многолетних раскопок увидел на выступе одной из стен рисунок лошади, а след за ним и другие рисунки зверей, в том числе мамонта. Этот «зверинец» был хаотически разбросан на площади около 25 квадратных метров по вертикальной известняковой стенке, закрытой ранее культурным слоем древнекаменного века. Возраст рисунков тем самым был доказан неоспоримо. Затем Дало увидел следы красной краски на резной фигуре лошади и решил, что гравюра могла быть когда-то покрашена окисью железа. Дало публикует свои наблюдения и приглашает не только Пьетта и Ривьера, но и самого Мортилье на место раскопок.

Мортилье сомневается. Недоумевает. Ошупывает пальцами глубоко врезанные в известняк линии контуров звериных фигур. Из грота изъята почти вся земля, но дневного света недостаточно, чтобы видеть гравюры. Искусственное освещение позволяет видеть пятна краски. «Это значит, — говорит Мортилье, — что первоначально гравюры, чтобы быть видимыми, должны были быть подчеркнуты краской». Так, значит, в принципе красочные росписи на скальных поверхностях, воссоздающие фигуры животных в темной глубине пещер, могли быть в палеолите? И живопись Альтамиры можно изучить в этом аспекте? Нет, говорит Мортилье, «точная

дата рисунков Альтамиры не может быть определена». Факт признан, принципиальное значение его — нет. Проблема наскального искусства в палеолите остается. Альтамира по-прежнему загадочна. Ривьер молчит о своих находках в Ла-Мут. Молчащим окружена живопись Марсула. Нет, судьба Альтамиры решилась не накоплением фактов.

В 1902 году на конгрессе французских антропологов в Монтабана профессор Люсьен Капитан и его молодые соавторы Анри Брейль и Дени Пейрони докладывали об открытых ими в 1901 году двух огромных пещерах — Комбарель и Фон-де-Гом — с наскальными изображениями. В Комбарель найдены только гравированные фигуры зверей — 14 мамонтов, 3 северных оленей, 2 бизона, 90 животных других видов, — размерами до одного метра. В Фон-де-Гом — и гравировки, и многоцветные росписи: двухметровые зубры, мамонты, северные олени — всего 75 изображений. Некоторые фигуры покрыты прозрачной броней древних кальцитовых натёков... Аудитория оживает, настраивается на юмористическую волну. Эли Массена шутит: кальки сняты хорошо, но ведь авторы подлинников — не ископаемые люди, а местные крестьяне, пастухи; они-то и рисовали свой скот от нечего делать.

...Конечно же, докладчики ссылались на предшественников. Был прецедент признания палеолитического возраста наскальных рисунков в Пэр-но-Пэр. Были наблюдения и находки в пещерах Ла-Мут, Марсула, Шабо. Была Альтамира... Но эти ссылки лишь усиливали юмористическое настроение развеселившихся слушателей. И неизвестно, чем окончилась бы очередная попытка обратить внимание ученых на новый феномен. Но вдруг поднялся Картальяк и со всей серьезностью и строгостью возразил своему другу Массена, призывая его и всех слушателей не совершать роковой ошибки, которую сам он совершает вот уже 20 лет и о которой теперь глубоко жалеет. Смех оборвался. И в наступившей тишине Картальяк продолжал, что в ближайшем номере журнала «Антропология» будет опубликовано его раскаяние, а сейчас необходимо идти к самим пещерам и осмотреть те изображения, о которых было доложено.

В день закрытия конгресса, 14 августа 1902 года, его участники направились в Комбарель, затем в Фон-де-Гом, оттуда в Ла-Мут — и смогли убедиться, что

все сообщенное о наскальных изображениях соответствует действительности. У выхода из Ла-Мут участники экскурсии сфотографировались, этот групповой снимок стал свидетельством исторического момента — признания наскальных рисунков и росписей ледниковой эпохи, включая живопись Альтамиры. Значит, не факты, не энтузиазм одиночек, не простой «перевес сил» подготовили оправдательный вердикт в «деле об Альтамире»? Формально решающую роль сыграло выступление Карталяка, одного человека, причем выступление не доказательное, а чисто эмоциональное.

Но только лишь формально.

Во время своего выступления Карталяк сказал: «В дни нашей молодости мы думали, что все знаем». Лидерам археологии палеолита в Париже казалось, что найден единый принцип трактовки древнейшей истории человечества: эволюционное учение, торжествовавшее в то время в естествознании. И если бы даже состоялось тогда, двадцать лет назад, то действительно научное обсуждение, на которое скромно надеялся Саутуола, — открытие его все равно не могло бы получить полного признания. Все добытое из земли, из культурных слоев палеолита (и миниатюрная художественная пластика, и «малое» анималистическое искусство на первобытных стойбищах) вписывалось в низшую ступень эволюции человека, техники, искусства.

Именно поэтому гравировки на камнях, оленьих рогах, кости, статуэтки, вырезанные из мамонтовой кости, — все эти изделия искусства древнекаменного века даже как бы подтверждали идею о постепенном осваивании человеком палеолита художественных навыков... И вдруг рядом с грубыми, приблизительными поделками — высочайшего класса реалистическая монументальная живопись. Она не вписывалась в привычную теорию. Она казалась чужеродным элементом.

КУРЬЕР «ВОКРУГ СВЕТА». ОТСПУЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Чужеродный элемент... Как часто новое, истинное открытие отвергается само по себе именно потому, что оно кажется несомненным со всей суммой знаний, накопленной к этому времени. Даже если это открытие своевременно, не опережает свой век, не видится фантастическим на общем уровне развития науки.

...Галилей всю свою жизнь игнорировал открытие Кеплера об эллиптичности планетных орбит. Ни в своих трудах, ни в своих письмах он ни разу не обмолвился о гениальном открытии своего коллеги. Не зная о работах

Кеплера Галилей просто не мог — в то время астрономия была основным делом Галилея и он состоял в переписке с Кеплером. И тем не менее, начиная с момента открытия до самой своей смерти, в течение тридцати лет, Галилей рассуждал в своих астрономических трудах так, словно работ Кеплера не существовало.

«В данном случае, — пишет доктор физико-математических наук И. Погребский, — неприятие открытия одного гениального ученого другим нельзя объяснить ни принципиальным различием мировоззрений и методологий, неподготовленностью или консерватизмом, ни возрастным барьером воспринимающей стороны (Галилей был старше Кеплера только на семь лет). И тем не менее налицо явная невосприимчивость Галилея к новому...» Дело, видимо, в том, заключает И. Погребский, что открытие Кеплера оказалось непримлемым для Галилея-мыслителя, вступило в противоречие «со всей системой эстетических, математических, естественнонаучных взглядов Галилея». Открытие Кеплера опровергало многовековое, еще с античных времен устоявшееся представление о том, что естественным движением всегда является движение по окружности. В том огромном здании миропорядка, которое выстроил Галилей, места для открытия Кеплера не было. А стоило ли ради одного факта перестраивать его? Ведь сам Галилей неоднократно подчеркивал, что понимание причин, исходного смысла всего происходящего бесконечно важнее, чем простое знание факта или многократно выверенные опыты...

Альтамиру «не видели», а потом не принимали, отвергая саму ее возможность, крупнейшие эволюционисты-археологи. Они не могли признать живопись Альтамиры, пока верили в универсальность эволюционизма. «Разубеждало» их постепенно все, что происходило не только в узкой области первобытной археологии, но и в этнологии, антропологии, философии, социологии, эстетике, искусствоведении конца XIX века. Становилось все яснее, что эволюционизм не универсален: творческая деятельность людей, искусство, общество имеют свои законы, не сводимые к законам биологической эволюции.

Именно это и можно назвать обобщающей основной причиной непризнания Альтамиры.

Закономерный ход науки, определяемый более глубокими факторами, чем мнение группы ученых, решил судьбы Альтамиры.

КУРЬЕР «ВОКРУГ СВЕТА». ЗАКЛЮЧЕНИЕ

...Итак, даже на одном примере из истории науки можно убедиться, насколько сложна эта проблема — научное открытие и его восприятие. Как все было бы

просто, если те горестные и трагические случаи непонимания научной общественностью выдающихся — да и не только выдающихся, а вообще — открытий, что зафиксированы историей, можно было бы объяснить лишь косностью, научным консерватизмом, традиционностью мышления...

И тут возникает вопрос: а нельзя ли сейчас, на основе анализа исторических фактов снять вообще или хотя бы свести до минимума все барьеры, подобные тем, что стояли некогда перед Саутуолой и другими исследователями? Нельзя ли сделать так, чтобы всякие субъективные факторы были исклечены при оценке того или иного открытия?

Нет. Науку делает человек. Человек совершает открытия. Он же и является верховным вершителем судеб их, какие бы совершенные механизмы и машины ни были у него на вооружении. И кроме того, зададимся вопросом: а всегда ли такие барьеры вредны науке, ее поступательному движению?

В связи с этим хочется привести слова члена-корреспондента Академии наук СССР С. Микундинского и доктора психологических наук М. Ярошевского: «Весь смысл деятельности ученого сводится к тому, чтобы сказать свое слово, чтобы присоединить хоть небольшую, но собственную крупицу ко всеобщему запасу позитивных знаний. Этот могучий, социальный по своей природе мотив приобретает резкую форму личной заинтересованности в утверждении собственных идей, в приоритете на открытие. И поскольку такой мотив оказывает неотвратимое влияние на характер восприятия отдельными учеными фактов, гипотез, концепций, наука вырабатывает своеобразный «защитный механизм», роль которого возрастает с ее развитием и ростом притязаний на оригинальный вклад в науку быстро увеличивающегося числа ее работников.

Поэтому сопротивление научной среды каждой новой идее следует рассматривать не только как отрицательный, блокирующий научное развитие фактор. Оно становится таковым в тех случаях, когда гипертрофируется нормальная работа критического аппарата научного мышления. Следовательно, речь должна идти не о том, чтобы вообще ослабить сопротивление всякой новой формации и тем самым обеспечить ее быстрое восприятие, а о том, чтобы оптимизировать деятельность механизма критики».

О том, какое значение имеет в нашу эпоху эта проблема «оптимизации механизма научной критики», в эпоху лавинообразного роста информации века научно-технической революции для каждой отрасли науки, хозяйства, вряд ли нужно говорить. Сейчас эта проблема выдвигается в ряд с крупнейшими проблемами науки нашего времени.

Выпуск «Курьера «Вокруг света» по материалам сборника «Научное открытие и его восприятие» («Наука», М., 1971, Институт истории естествознания и техники) подготовил В. ЛЕВИН.



ГАРРИ ГАРРИСОН

НЕУКРОТИМАЯ ПЛАНЕТА

Язон сбросил с себя оцепенение. У него было такое чувство, будто его пропустили через мясорубку; мысли вязли в густом тумане, заполнившем голову; наконец он вспомнил, что у него есть аптечка.

...Рассудок вернулся и привел с собой чувство одиночества. Без еды, без друзей, кругом враждебные силы чужой планеты... В недрах души зародился страх, и Язону стоило большого труда укротить его.

— Думай, Язон, думай, не поддавайся эмоциям, — сказал он вслух, увещевая самого себя.

Сказал — и не обрадовался, так жалко прозвучал в пустоте его голос. В горле что-то застряло, он откашлялся, сплюнул и увидел кровь. Глядя на красное пятнышко, Язон вдруг ощутил прилив ярости. Как он ненавидел эту свирепую планету и невообразимую тупость живущих на ней людей! Он громко выругался. На этот раз голос его уже не казался жалким. Язон орал, грозил кому-то кулаком. И это, как ни странно, помогло. Гнев вытравил страх и вернул ему здравый смысл.

Совсем не так уж плохо посидеть на земле... Солнце ласково пригревало; и когда он откинулся на спину, то почти забыл о двойном тяготении. Где-то в глубинах сознания возникло старое стертое изречение: «Пока есть жизнь — есть надежда». Банально, ничего не скажешь, но в этих словах кроется зерно истины.

Итак, что у него есть в активе? Он изрядно потрепан, но жив. Ушибы и ссадины не страшные, кости целы. Пистолет в порядке; едва Язон подумал о нем, как он тотчас выскочил из кобуры. Да, пиррянское снаряжение сработано на совесть. Аптечку он уже проверил. Если он сохранит трезвость суждений, будет идти по возможности прямо и сумеет прокормить плодами здешней земли, есть надежда добраться до города. Какой прием ждет его там — это другой вопрос. Придет — узнает. Сначала надо идти.

Окончание. Начало в №№ 5—8.

Фантастическая повесть

Неистовые порывы ветра забросали его листьями и мусором, потом хлынул ливень. Мокрый, озябший, адски усталый, с трудом переставляя ноги, он брел по планете смерти.

Спустилась ночь, а дождь все лил. Ориентироваться было невозможно — значит, идти дальше бессмысленно. К тому же Язон совсем выбился из сил. Деревья кругом были такие толстые и скользкие, что он и при обычном тяготении ни на одно не влез бы. Проверял под упавшими стволами, под кустами — всюду одинаково мокро. Под конец Язон свернулся калачиком на земле...

Около полуночи дождь прекратился, и сразу сильно похолодало. Язону приснилось, что он замерзает, к нему подкрадывается смерть, а проснувшись и с трудом открыв глаза, он убедился, что это почти так и есть. Между ветвями сыпал снежок, припорошивая землю, а заодно и Язона. У него все суставы ооченели; и когда он чихнул, грудь пронизала острая боль. Ноющие мышцы жаждали только покоя, но еще теплившийся рассудок приказал встать. Придерживаясь рукой за ствол, чтобы не упасть, он пошел вокруг дерева. Шаг за шагом, круг за кругом... Холод мало-помалу отступал, дрожь унялась. Усталость окутывала его тяжелой серой пеленой, а он все шел и шел с закрытыми глазами, открывая их только тогда, когда падал и надо было встать.

На рассвете солнце выжгло снеговые тучи. Язон прислонился к дереву и поднял к небу воспаленные глаза. Кругом все было бело, лишь чернела натоптанная им дорожка. Опираясь спиной о гладкий ствол, Язон медленно опустился на землю. Всеми клетками он впитывал солнечные лучи. Солнце, едва выйдя из-за го-

ризонта, уже припекало. Одежда быстро высохла, потом ему стало жарко. Очень жарко...

Что-то не в порядке... Что?.. Его самочувствие. Явные признаки пневмонии.

Язон улыбнулся, потом слизнул с губ капельки крови. Право, смешно: он успешно отбивался от пиррянских хищников и ядовитых рептилий, а вот самые крохотные бестии его одолели. Ничего, найдется и на них управа! Он засучил рукав и дрожащими пальцами прижал к руке жерло аптечки. Послышался щелчок, затем сердитое жужжание. Ну конечно. Нет антибиотика, предписанного анализатором. Аппарат нуждается в заправке.

Язон выругался и отшвырнул аптечку; она шлепнулась в лужу и утонула. Конец лекарства, конец аптечки, конец Язона дин-Альта. Одинокий воитель против полчищ планеты смерти... Отважный чужепланетник, ни в чем не уступающий местным жителям... Всего один день без посторонней помощи — и смертный приговор утвержден.

За спиной раздалось свирепое рыканье. Он мгновенно повернулся и выстрелил, бросаясь на землю. И даже не успел осознать происходящего, как уже все было кончено. Пиррянская школа здорово натренировала его подкорковые центры. Глядя на уродливую тварь, которая корчилась в предсмертных судорогах в метре от него, Язон сказал себе, что часы учения не пропали зря.

Он живо поднял голову. И вовремя поднял! Между деревьями крались серые силуэты. Язон уложил двух хищников; остальные, яростно ворча, отступили в лес.

Сидя спиной к дереву, Язон отражал повторные атаки. Подпустит зверье поближе и только тогда открывает огонь. После каж-

дого выстрела, сопровождающего предсмертным визгом жертвы, все яростнее выли уцелевшие.

Лишь под вечер он истратил последний заряд. Поймав себя на том, что он все чаще промахивается, Язон на этот раз дал зверю подойти совсем близко, потом выстрелил. Чудовище захрипело и испустило дух. Остальные с воем отпрянули; при этом одна тварь подставила бок, и Язон поспешил нажать на спуск.

Последовал негромкий щелчок. Осечка? Он нажал снова — опять щелчок. Магазин был пуст, опустел и патронташ на поясе.

Выходит, конец. Верно ему говорили. Пирр не по его зубам.

Теперь, когда ему не надо было держаться начеку и отстреливаться, болезнь взяла верх. Ему страшно хотелось спать, и он знал, что это будет долгий сон. Слипаящимися глазами он смотрел, как подкрадывается зверье. Вожак уже совсем близко... Язон увидел, как его мышцы напряглись для прыжка.

Вожак прыгнул и упал подле Язона. Из клякстой пасти струилась кровь, в голове сбоку торчал металлический черенок.

Два человека вышли из зарослей. Звери тотчас скрылись; одного появления этих людей было достаточно, чтобы отогнать их.

Корчевщики. Он так спешил добраться до города, что забыл про корчевщиков. Хорошо, что они здесь. Хорошо, что пришли.

Язон провалился в полузабытье. Они куда-то долго двигались... Какие-то крупные животные кругом... Стены, запах дыма, голоса... Но его ничто не волновало и не заботило — он слишком устал.

— Наконец-то, — сказал чей-то голос. — Еще день-другой, и мы закопали бы тебя в землю.

Язон прищурился и узнал Реса. Хотел ответить, но едва открыл рот, как на него напал нестерпимый кашель. Кто-то поднес к его губам чашку, и он проглотил

какую-то сладковатую жидкость. Отдохнув немного, он снова попытался заговорить.

— Давно я здесь? — Язон не узнал собственного голоса, так тонко и слабо он прозвучал.

— Восемь дней, — сказал Рес. — Но почему ты не остался около ракеты? Наши люди не теряли времени, они еще до темноты были на месте аварии. Увидели сломанные деревья, увидели след от затонувшей ракеты и сперва подумали, ты погиб. Но тут одна из собак взяла твой

след. Ночью в болотах она его опять потеряла. Сколько ни искали, не могли найти. Сам понимаешь — грязь, снег... На следующий день уже хотели вызывать подмогу, когда вдруг услышали стрельбу. Подоспели, насколько я понимаю, в последнюю минуту. К счастью, в отряде был говорун; он приказал диким собакам уходить. Иначе пришлось бы их всех перебить, а это никуда не годится.

— Спасибо, что выручили, — сказал Язон. — Без вас я пропал бы. Воспаление легких — верная смерть в моем тогдашнем состоянии. Выходит, вы ошибались, когда говорили, что от ваших лекарств мало проку. Мне-то они помогли...

Он замаялся, глядя на Реса, который хмуро покачал головой.

— В чем дело? — насторожился Язон. — Как же вы меня спасли? Во всяком случае, моя аптечка была пустая.

— Ты умирал, — медленно заговорил Рес. — Мы не могли тебя вылечить. Тут нужен был такой аппарат, какие делают жестянщики. Мы добыли его у водителя транспорта.

— Как добыли? — поразился Язон. — Вы же сами говорили, что горожане не дают вам лекарств. Он ни за что не отдал бы свою аптечку. Только...

Рес кивнул и договорил:

— ...мертвый. Я сам его убил С превеликим удовольствием.

Слова Реса поразили Язона в самое сердце. Он мысленно перебрал всех тех, кто погиб после того, как он попал на Пирр. Люди умирали, чтобы спасти его, умирали, чтобы он жил, умирали из-за его идей. Он чувствовал себя последним негодяем. Будет ли Краннон последней жертвой или горожане захотят отомстить?

— Вы понимаете, что это значит? — произнес он через силу. — Гибель Краннона окончательно восстановит город против вас. Вы больше ничего от них не получите. Они будут нападать на вас при каждом удобном случае, убивать ваших людей...

— Все это мы знаем! — ответил Рес охрипшим от волнения голосом. — Не подумай, что нам было легко решиться. У нас было что-то вроде соглашения с жестянщиками. Транспортеры с топорами считались неприкосновенными. Ведь это была единственная наша связь с Галактикой, последняя надежда на то, что когда-нибудь все-таки удастся наладить контакт с внешним миром.

— Тем не менее вы разрушили это звено, чтобы спасти меня. Во имя чего?

— На этот вопрос только ты можешь ответить. Город подвергся сильнейшей атаке, мы видели бреши в стене, в одном месте им пришлось отодвинуть линию обороны. В это время космический корабль находился над океаном и сбрасывал бомбы. Наши люди видели вспышку. Потом корабль пошел обратно, а ты покинул его на маленькой ракете. Они обстреляли ее, но убить тебя им не удалось. И ракета уцелела, мы как раз собираемся поднять ее из болота. Мы понимали, что произошли очень важные события. Тебя нашли живым, но было очевидно, что ты обречен. Может быть, ракету еще можно отремонтировать. Может быть, ты украл ее для нас. Мы не могли дать тебе умереть, хотя бы это и привело к войне с горожанами. Все было за то, что тебя надо спасти любой ценой. Я убил жестянщика, взял аптечку, загнал двух доримов и поспел как раз вовремя. А теперь скажи нам, что произошло? Какой у тебя план? Что он нам даст?

Чувство вины лишило Язона дара речи. В памяти промелькнул эпизод из старинной легенды — про Иону, который загубил космический корабль с людьми, а сам остался жив. Неужели он погубит целый мир? Смеет ли он признать, что угнал ракету только за тем, чтобы спасти свою жизнь?

Три пиррянина выжидательно наклонились над ним. Язон закрыл глаза, чтобы не видеть их лиц. Как быть? Если он скажет им все как есть, они тут же убьют его — и будут правы. Но ведь если он сейчас умрет, все жертвы окажутся напрасными. А между тем война между планетой и людьми может быть прекращена. Он уже знал бы ответ, если бы не эта проклятая усталость. Решение готово, схоронилось где-то в мозгу и ждет, чтобы его извлекли из тайника.

За стеной послышался топот. Потом невнятный крик, но пирряне не обратили внимания на эти звуки; они напряженно ждали, что ответит Язон. А он никак не мог подобрать нужные слова.

В гнетущей тишине громко отдался стук распахнутой двери. На пороге стоял кражистый человек; его барговое лицо, обрамленное седой бородой, дышало гневом.

— Вы что тут, оглохли все? — рявкнул он. — Всю глотку сорвал, а вы сидите, словно клуши. Вы-

ходите! Живо! Землетрясение!
Скоро начнется землетрясение!

Все вскочили. На вошедшего обрушился град вопросов. Голос Реса прозвучал громче других:

— Хананас! Сколько у нас времени?

— Сколько времени? Нашел, о чем спрашивать! Уходите, пока живы, это все, что я знаю!

Не тратя времени на дальнейшие разговоры, корчевщики приступили к сборам, и через минуту Язон уже лежал на носилках, укрепленных на спине дорима.

— В чем дело? — спросил он пирянина, который привязывал его к носилкам.

— Хананас — наш лучший предсказатель по этой части, — ответил тот, затягивая узел. — Он всегда заранее знает, когда ждать землетрясения. Кого успеет предупредить, те уходят. Предсказатели всегда наперед знают — чувствуют, что ли.

Когда они тронулись в путь, уже смеркалось, и красный закат перекликался с пундовым заревом на севере. Издалека доносился глухой гул. Доримы без понукания пустились валкой рысью. Они прошлепали копытами по мелкому болоту, после чего Хананас резко изменил курс. Причину этого Язон понял немного погодя, когда небо на юге словно взорвалось. Яркая вспышка озарила лес, потом сверху посыпался пепел, по деревьям забарабанили раскаленные камни. Земля шипела там, где они падали, и быть бы лесному пожару, если бы не недавний дождь.

Рядом с маленьким караваном колыхалось что-то большое и черное. Когда они выехали на поляну, Язон присмотрелся и в отраженном свете разглядел косматое чудовище с огромными кривыми рогами.

— Рес... — позвал он.

Рес бросил взгляд на зверя и отвернулся. Чудовище его не то что не испугало — даже не заинтересовало. Присмотревшись, Язон понял — почему.

Животные бежали молча, поэтому они не заметили их раньше. Между деревьями справа и слева мелькали темные силуэты. Несколько минут совсем рядом, мешаясь с одомашненными собаками, бежала стая диких псов. Над головой у всадников пронеслись жуткие твари. Все живое объединилось в борьбе за жизнь. Путь пересекли жирные животные с изогнутыми клыками, похожие на свиней. Доримы замедлили бег, осторожно ставя ноги, чтобы не затоптать их. Иногда мелкие твари залезали на спину более крупным и какое-то время ехали на них верхом.

Скрипучие носилки немилосердно трясли Язона, и в конце концов он уснул. Ему грезились звери, несущиеся вперед в бесшумном стремительном беге. Откроет глаза, закроет глаза — та же нескончаемая череда животных.

Эта картина таила в себе какой-то глубокий смысл... Но что именно? Язон нахмурился, соображая. Бегущие животные, пиряньские животные...

Вдруг он сел на носилках, сон как рукой сняло.

— Что случилось? — спросил Рес, подъезжая вплотную.

— Ничего, — отозвался Язон. — Нам бы только выбраться. Я теперь знаю, как вашему народу получить то, чего он хочет, и прекратить войну.

В памяти оседали только отдельные фрагменты ночного перехода. Кое-что запечатлелось очень четко — например, громадная, с космический корабль величиной, глыба раскаленного шлака, которая упала в озеро и обдала всадников брызгами горячей воды. А вообще подробности этого бесконечного перехода мало занимали изурванного болезнью Язона. На рассвете они вышли из опасной зоны, и доримы с рыси перешли на шаг. Как только угроза миновала, звери исчезли, тихо разошлись в разные стороны, все еще соблюдая перемирие.

Но кончилась опасность — кончился и мир; Язон убедился в этом, когда они устроили привал. Вместе с Ресом он направился к зеленому пятачку возле упавшего дерева, однако на мягкой траве под стволом уже лежала дикая собака. При виде людей она вся напряглась; румяный восход высекал красные искры из ее глаз. В трех метрах от зверя Рес остановился и замер. Язон тоже остановился, спрашивая себя, почему корчевщик не берется за оружие и не зовет никого на помощь. Что ж, ему виднее...

Неожиданно собака прыгнула прямо на них. Рес оттолкнул Язона в сторону, так что он упал

Рисунки Г. ФИЛИППОВСКОГО



навзничь, и сам припал к земле, держа в руке длинный нож, который он успел выхватить из ножен. Молниеносный выпад... Собака изогнулась в воздухе, пытаясь схватить нож зубами, но он уже вонзился в ее тело. Она еще была жива, когда упала на землю, но Рес уже сидел на ней верхом. Задрав кверху защищенную пластинами голову, он перерезал собаке горло, потом тщательно вытер нож о ее шкуру и сунул его обратно в ножны.

— Обычно они смиренные, — спокойно сказал он, — но эта чем-то была взбуждена. Должно быть, потеряла стаю.

Как это непохоже на поведение горожан! Рес не стал нападать первым, он до последнего избегал схватки. Рес не упивался победой — напротив, он был огорчен гибелью живого существа.

Правильно. Все стало на свои места. Теперь ему ясно, как начался смертельный поединок Пирра с человеком, и ясно, как его прекратить. Нет, жертвы не были напрасными! Каждая из них приближала его к цели. Осталось сделать последний шаг.

Рес смотрел на Язона; казалось, он думал о том же.

— Выкладывай, — сказал он. — Что ты придумал? Как нам перебить жестянщиков и завоевать свободу?

Язон не стал поправлять: пусть думают, что он на их стороне.

— Собери людей, я объясню. И надо, чтобы Накса непременно был, и другие говоруны.

Люди Реса не заставили себя ждать. Каждый знал, что для спасения инопланетника убит жестянщик и теперь вся надежда на него. Глядя на обращенные к нему лица, Язон думал, как лучше растолковать им, что нужно сделать. Мысль о том, что многие из них погибнут, выполняя его план, сковывала Язона.

— Всем нам хочется, чтобы прекратилась война на Пирре. Есть способ сделать это, но он потребует человеческих жертв. — Он обвел взглядом напряженные лица. — Мы нападём на город и прорвем периметр. Я знаю, как это сделать...

Толпа зашумела. Одни ликовали, предвкушая расправу с исконным врагом. Другие тарашились на Язона как на сумасшедшего. Третьи были ошеломлены дерзким замыслом сразиться с вооруженным до зубов врагом в его оплоте. Язон поднял руку.

— Я знаю, это кажется невозможным, — продолжал он. — Но сейчас самое время действовать. Дальше будет только еще хуже.

Город Пирр... жестянщики обойдутся без вашего продовольствия, их концентраты — порядочная дрянь, но прожить можно. А вот вам они постараются отомстить. Вы перестанете получать металл, инструменты, части для электронной аппаратуры. Они будут выслеживать с воздуха и уничтожать ваши фермы. И это только начало... Горожане проигрывают войну против планеты. С каждым годом их остается все меньше, в один прекрасный день последние вымрут. Но сперва — уж я их знаю! — они взорвут корабль, а заодно и всю планету, если сумеют.

— А как мы им можем помешать? — крикнул кто-то.

— Помешаем, если нанесем удар теперь, — ответил Язон. — Я хорошо изучил город, знаю, как устроена оборона. Периметр предназначен для защиты от животных, а мы можем прорваться, если очень постараемся.

— Что толку? — возразил Рес. — Мы прорываем периметр, они отходят, потом собирают все силы и наносят ответный удар. Разве мы устоим против их оружия?

— До этого не дойдет. Их космодром примыкает к периметру, я знаю точно, где стоит корабль. Именно там мы и должны прорваться. Около корабля нет постоянной охраны, и вообще на космодроме мало людей. Мы захватываем корабль. У кого в руках корабль, у того в руках весь Пирр. Мы пригрозим уничтожить корабль, если не будут приняты наши условия. Им придется выбирать — либо самоубийство, либо сотрудничество. Надеюсь, у них хватит ума предпочесть второе.

Секунду царила полная тишина, но тут же загудели голоса, все старались перекричать друг друга, пока Рес не вмешался и не навел порядок.

— Тихо! — крикнул он. — Дайте Язону договорить, потом решайте. Мы еще не слышали, как он предлагает осуществить прорыв.

— Успех моего плана зависит от говорунов, — сказал Язон. — Накса тут?

Он выждал, пока одетый в шкуру корчевщик не протиснулся вперед, и продолжал:

— Слушай, Накса. Вы, говоруны, умеете приказывать доримам и собакам, это я знаю. А как с дикими животными? Можете вы их заставить слушаться вас?

— Диких-то? А что, заставим. Чем больше говорунов, тем больше наша сила. Что захотим, то и будут делать.

— Значит, можно организовать атаку, — возбужденно подытожил

Язон. — Вы смогли бы собрать всех говорунов в одном месте, в противоположном конце от космодрома, и натравить животных на город? Заставить их атаковать периметр?

— Сможем ли мы? — Идея Язона явно привела Наксу в восторг. — Да мы отовсюду зверей сгоним, такой шторм устроим, какого они еще не видели!

— Значит, решено. Вы, говоруны, организуете шторм периметра в дальнем конце. Только сами не показывайтесь, чтобы охрана не догадалась. Я видел, как они действуют. При сильной атаке вызывают подмогу из города и снимают часть людей с других участков периметра. В разгар битвы, когда все их силы будут связаны, я поведу отряд на прорыв и захвачу корабль. Вот такой у меня план, и я уверен, что у нас все получится.

Кончив говорить, Язон в изнеможении опустился на траву.

Когда бурное обсуждение кончилось и все разошлись, Рес подошел к Язону.

— Ну так, в принципе все решено, — сказал он. — Никто не возражал. Теперь гонцы оповестят говорунов — ведь это наша ударная сила; чем больше мы их соберем, тем лучше. Вызывать их по визифону не стоит — кто поручится, что жестянщики не перехватывают наши передачи? Нам нужно пять дней, чтобы все подготовить.

— Да и мне нужно не меньше пяти дней, чтобы хоть сколько-нибудь восстановить силы, — ответил Язон.

— Ну и ну!.. — прошептал Язон. — Я ведь никогда не видел периметр снаружи. Уродство — другого слова не подберешь.

Он лежал на бугре рядом с Ресом и смотрел из-за кустов вниз на периметр. Несмотря на полуденный зной, оба были закутаны в шкуры, ноги защищены толстыми крагами, руки — кожаными рукавицами. От жары и двойного тяготения у Язона кружилась голова.

Впереди, за выжженной долой, тянулся периметр. Глухая стена, неодинаковая по высоте, неоднородная по материалу. Невозможно сказать, какой она была первоначально. Атаки, атаки, атаки долбили, подрывали, разрушали ее. Горожане наспех ремонтировали стену, лепили заплатки. Грубая каменная кладка рассыпалась, на ее месте появлялись деревянные клеточки, а к ним при-

мыкали сваренные по шву стальные плиты. Но и металл не мог устоять — свидетельством тому было рваное отверстие, через которое сыпался песок из лопнувших мешков. Поверхность стены опутывали сигнальные провода и проволока электрической защиты. Тут и там над парашютом торчали стволы огнеметов, сжигавших все живое, что приближалось к основанию стены.

— Эти штуки... — выдавил Рес. — Видишь, вон та как раз прикрывает участок, где ты задумал прорваться.

— Не беспокойся, все будет в порядке, — заверил его Язон. — Хотя и кажется, что они бьют беспорядочно, но это не так. Промежутки между залпами разные, но эта хитрость рассчитана на зверей, а не на человека. Да ты сам убедись. Залп следует через каждые две, четыре, три и одну минуту.

Они отползли обратно в яму, где их ждал Накса и другие. Всего тридцать человек, а для такого задания как раз и требовался небольшой, подвижной отряд. Их главное оружие — внезапность. Без нее арбалеты корчевщиков и десяти секунд не устоят против огневой мощи города.

В толстых шкурах всем было жарко, и кое-кто развязал одежду, чтобы немного остыть.

— Заявляйтесь! — скомандовал Язон. — Вы еще не бывали так близко к периметру и не представляете себе, что там творится. Я знаю, Накса не подпустит крупных животных, а с мелкими тварями все вы справляетесь. Тут другая опасность. Каждая колючка отравлена, каждая травинка оканчивается смертоносным шипом. Насекомых тоже берегитесь. И когда пойдем вперед, дышите только через мокрую тряпку.

— Он прав, — пробурчал Накса. — Я так ни разу не был близко. Под стеной смерть, сплошная смерть. Делайте, как он велит.

Снова потянулось томительное ожидание. Они острили и без того острые арбалетные стрелы и поглядывали на медленно ползущее по небу солнце. Один Накса не тяготился ожиданием. Он сидел, глаза где-то далеко, и слушал внутренним слухом, что происходит в джунглях.

— Идут, — сказал он наконец. — Никогда еще такой прорыв не слышал. Все звери, со всего края, отсюда до самых гор, мчатся к городу, только вой стоит.

Язон и сам кое-что улавливал: атмосферу напряжения, страшную волну ненависти и ярости. Он знал, все получится, если только

удастся сосредоточить атаку на узком фронте. Говоруны не сомневались в успехе. Еще на рассвете тонкая цепочка косматых людей в шкурах, охватив подкожной пиррянских животных, мысленными командами погнала их на город.

— Пошли на штурм! — вдруг сказал Накса.

Все встали, глядя в сторону города. Язон физически ощутил, что Накса прав. А тут еще издали донеслись выстрелы и мощные взрывы, над деревьями поднимались струйки дыма.

— Зайдем исходную позицию, — сказал Язон.

Лес кругом был словно пропитан концентратом ненависти. Полуодушевленные растения извивались и корчились, воздух наполнился тучами крылатой мелюзги. Накса, весь в поту, бормоча что-то, отводил в сторону катящуюся на них волну животных. Отряд потерял четверых, пока добирался до выжженной полосы. Одного ужалило какое-то насекомое, и хотя Язон вовремя подоспел с аптечкой, раненый все равно чувствовал себя так скверно, что вынужден был ползти обратно. А трое погибли, их распухшие, скорченные тела остались лежать на земле.

— Голова уже болит держать их, — проворчал Накса. — Когда пойдем на стену?

— Рано еще, — ответил Рес. — Мы ждем сигнала.

Один из корчевщиков нес радиостанцию. Осторожно поставив ее на землю, он забросил антенну на дерево. Рация была экранирована так, чтобы никакие импульсы не выдали их присутствия. Включили приемник, но в динамике только потрескивали разряды.

— Можно было заранее рассчитать время... — заговорил Рес.

— Нет, — возразил Язон. — Тут важна точность. Мы должны пойти на прорыв в самый разгар штурма, будет больше шансов на успех.

В динамике зашипела несущая частота. Чей-то голос произнес короткую фразу и выключился.

— Принесите три мешка муки. — Пошли! — Рес рванул вперед.

— Постой. — Язон поймал его за руку. — Не забывая про огнемет. Он даст залп через... Есть! Фонтан огня пролился на землю и погас.

— Четыре минуты до следующего, мы угадали в самый большой интервал!

Они побежали по мягкой земле, перепрыгивая через обугленные

кости и ржавый металл. Двое корчевщиков подхватили Язона под руки и понесли его. Это не было предусмотрено, но помогло выиграть несколько драгоценных секунд. У стены они опустили его. Язон вытащил мину, которую сделал из патронов убитого Краннона. Операция была многократно отрепетирована, и теперь все шло как по маслу.

Язон выбрал для прорыва участок со стальными плитами. Они лучше всего противостояли пиррянским организмам, это позволяло надеяться, что насыпь за ними не такая мощная, как в других местах. Если он просчитался — им всем конец.

Бежавшие вперед уже прилепили к стене комья клейкой смолы. Язон давил в нее патроны, расположив их прямоугольником в рост человека. В это же время другие члены отряда размотали детонирующий шнур. Штурмовая группа рассыпалась вдоль стены. Язон доковылял до электродетонатора, упал на него и нажал рычаг.

Оглушительный взрыв сотряс стену и выбросил язык красного пламени. Рес первым подскочил к пробоинам и принялся дергать руками еще дымящийся металл. Подоспели остальные и дружно отогнули зазубренные края. Брешь заволочло дымом, ничего не было видно. Язон нырнул в нее, покатился по валунам и врезался во что-то твердое. Протерев глаза, он осмотрелся по сторонам. Он был в городе.

Остальные тоже ворвались в брешь. На бегу они подхватили Язона на руки.

Навстречу им из-за угла выскочил человек. При виде нападающих он метнулся к подворотне. Но нападающие тоже были пирряне, и он повалился на спину, пронзенный тремя стрелами. Не останавливаясь, они бежали дальше между низкими складскими зданиями туда, где высился корабль.

И тут они увидели, как наружный люк медленно закрывается. Кто-то опередил их. Град стрел забарабанил по люку — да что толку.

— Вперед! — крикнул Язон. — Живей под корпус, пока он не открыл огонь.

Трое из отряда не успели добраться до укрытия. Все остальные уже стояли под кораблем, когда его пушки заговорили.

Троих накрыло шквалом огня и разнесло на молекулы. Прорвавшийся в корабль пиррянин нажал сразу все гашетки, чтобы отразить атаку и предупредить

своих. Сейчас он стоит у визифона и вызывает подмогу.

Язон дотянулся до люка и попробовал его открыть, но он был заперт изнутри. Кто-то оттолкнул Язона и дернул рукоятку. Она обломилась, люк не поддался.

Пушки смолкли, и грохот прекратился.

— Вы взяли пистолет у убитого? — спросил Язон. — С пистолетом можно в два счета открыть люк.

— Нет, — отозвался Рес. — Когда было.

Он еще не договорил, как два корчевщика сорвались с места и побежали к складам. Тотчас загрохотали пушки. Очередь поразила одного смельчака, но второй успел добежать до зданий, прежде чем стрелок изменил прицел.

Вскоре он снова появился из-за дома и швырнул пистолет товарищам, но сам уже не сумел укрыться и был сражен снарядами.

Пистолет докатился по бетону почти до самых ног Язона. Он приставил дуло к замку и выстрелил; в эту секунду за домами завывли турбины стремительно приближающихся транспортеров. Люк скрипнул и медленно открылся. Весь отряд был внутри корабля еще до того, как показался первый транспортер. Накса остался с пистолетом у люка; Язон повел остальных к пилотской кабине.

Он объяснил, как туда добираться, и когда подоспел сам, все уже было кончено, горожанин стал похож на подушечку для булавок. Один из корчевщиков, немного разбиравшийся в технике, нашел гашетки и открыл такой яростный огонь, что транспортерам пришлось отступить.

— Свяжитесь по радио с говорящими и скажите им, что можно прекращать атаку.

Отдав это распоряжение, Язон подошел к визифону и включил его. С экрана на него глядел потрясенный Керк.

— Ты! — Керк произнес это слово ругательство.

— Ага, я, — ответил Язон, рассматривая рычаги и кнопки на пульте. — Выслушай меня, Керк... И учти: как я скажу, так и будет. Я, возможно, не знаю, как управлять космическим кораблем, но взорвать его я сумею. Тебе слышен этот звук?

Он щелкнул тумблером, и где-то в недрах корабля загудел насос.

— Это насос основного горючего. Если я оставлю его включенным, он в два счета наполнит топливом камеру сгорания. Нака-

чаю побольше, чтобы потекло через дюзы. А потом нажму пусковую кнопку... Угадай, что тогда будет с вашим единственным космическим кораблем? Я не спрашиваю, что будет со мной, тебе на это наплевать. Но корабль нужен вам как воздух.

В кабине царило безмолвие. Люди, захватившие корабль, смотрели на Язона. Тишину нарушил скрипучий голос Керка:

— Что тебе надо, Язон? Что ты задумал? Зачем привел этих животных? — От ярости у него перехватило горло.

— Поприветствуй язык. Керк, — строго сказал Язон. — Люди, о которых ты говоришь, владеют единственным на Пирре космическим кораблем. Если ты хочешь, чтобы они поделились с тобой, научись вежливо разговаривать. А теперь немедленно иди сюда. Да захвати с собой Бруччо и Мету.

Язон посмотрел на багровое, отекавшее лицо седого пиррянина и вдруг ощутил что-то похожее на жалость.

— Да не горюй ты так, это не конец света. А скорее начало. Да, вот еще: не выключай этот канал. Пусти изображение на все экраны в городе, чтобы каждый видел, что тут будет происходить. И пусть запишут, чтобы можно было повторить.

Керк хотел было что-то ответить, но раздумал и исчез с экрана. Однако визифон остался включенным. На всех экранах города был виден главный отсек космического корабля.

Бой был окончен. Он окончился так быстро, что они еще не успели как следует это осознать. Рес пощупал рукой поблескивающий металлом пульт управления, убеждаясь, что ему это не чудится. Остальные бродили по отсеку, заглядывали в перископы, увлеченно рассматривали диковинную аппаратуру.

Язон еле держался на ногах, но не показывал виду. Открыв пилотскую аптечку, он нашел стимулирующее средство. Три золотистые пилюльки прогнали усталость и развеяли туман в голове.

— Внимание! — крикнул он. — Борьба еще не окончена. Они постараются отбить корабль, так что мы должны быть наготове. Пусть кто-нибудь из ваших техников хорошенько изучит все пульты и отыщет кнопки от люков. Все люки до одного должны быть надежно закрыты. Включите видеодатчики на круговой обзор, чтобы никто не мог подойти

к кораблю. И не мешало бы тщательно осмотреть отсек за отсеком — вдруг мы не одни.

Каждому нашлось дело, и люди сразу оживились. Рес распределил обязанности. Язон остался стоять около пульта, поближе к тумблеру топливного насоса. Да, борьба еще не кончилась...

— Транспортер! — крикнул Рес. — Ползет потихоньку.

— Рвануть его? — спросил член отряда, дежуривший у гашеток.

— погоди, посмотрим, кто это, — сказал Язон. — Если те, которых я вызвал, пусть проезжают.

Стрелок следил в прицел за приближающимся транспортером. Водитель... три пассажира... Язон подождал, пока не развеялись последние сомнения.

— Это они, — сказал он. — Стань около люка, Рес, впускай их по одному и сразу отбирай пистолеты. И все остальное снаряжение тоже. Любая штука может оказаться оружием, особенно внимательно осмотрите Бруччо — худой такой, лицо как топор, — чтобы у него ничего не осталось. Он у них специалист по оружию и технике выживания. Водителя тоже захватите, остальным горожанам незачем знать, в каком состоянии наша оборона.

Язон сидел как на иголках. Его рука лежала рядом с тумблером. Он знал, что никогда его не включит, но другие не должны об этом подозревать.

Послышался топот, приглушенная брань, и в отсек втолкнули безоруженных парламентариев. При виде их свирепых лиц Язон невольно сжал кулаки.

— Пусть встанут около стены, — сказал он Ресу. — И не спускайте с них глаз. Арбалетчикам быть наготове.

Он смотрел на людей, которые когда-то были его друзьями, а теперь задыхались от ненависти к нему: Мета, Керк, Бруччо. Водителем оказался Скоп, тот самый, которого Керк приставлял к нему охранником.

— Слушайте внимательно, — заговорил, наконец, Язон. — Потому что от этого зависит ваша жизнь. Стойте у стены и не пытайтесь приблизиться ко мне даже на дюйм. Кто не подчинится, будет убит на месте. Будь я один, вы, конечно, помешали бы мне нажать на тумблер. Но я не один. У вас рефлексы и мышцы настоящих пиррян, но и у арбалетчиков не хуже. Так что лучше не рискуйте. Все равно ничего не выйдет, кроме самоубийства. Я говорю это вам для вашего же

блага. Чтобы можно было разговаривать спокойно, без риска, что кто-нибудь из вас сорвется и будет убит. У вас нет другого выхода. Вам придется выслушать все, что я скажу. Вам отсюда не уйти, и убить меня не удастся. Война окончена.

— Все потеряно... Это ты виноват, ты, предатель! — прохрипела Мета.

— И то и другое неверно, — мягко возразил Язон. — Я не предатель. Я соблюдаю верность всем людям этой планеты, живут ли они внутри периметра или за его пределами. Вы не можете сказать, что я кому-то отдавал предпочтение. И кроме того, вы ничего не потеряли. Если хотите знать, выиграли вы. Война с планетой выиграна вами. Потрудитесь только дослушать меня до конца.

Он повернулся к Ресу, который недовольно нахмурился.

— И ваши люди, Рес, тоже выиграли, поверьте мне. Это конец войны с городом, у вас будет лекарство, будет контакт с внешним миром — все, о чем вы мечтали.

— Ты сулишь райскую жизнь обеим сторонам, — сказал Рес. — Трудновато будет осуществить такое обещание.

— Ты попал в самую точку, — сказал Язон. — Проблема будет решена так, чтобы никто не остался внакладе. Мир между городом и фермами, конец вашей бессмысленной войне. Мир между людьми и пиррянскими организмами — ведь с этого конфликта все пошло.

— Он рехнулся, — сказал Керк.

— Возможно. Выслушайте, потом судите. Начну с истории, потому что корни проблемы и ее разрешение связаны с прошлым. Когда поселенцы триста лет назад высадились на Пирре, они не заметили одной очень важной черты, которая отличает Пирр от всех других планет Галактики. И трудно их корить, у них и без того хватало забот. Все, кроме разве тяготения, было для них непривычно, все непохоже на искусственный климат индустриальной планеты, с которой они прилетели. Штормы, вулканы, наводнения, землетрясения — от всего этого не мудрено и свихнуться. Наверно, со многими так и случилось. Еще им без конца досаждали звери и насекомые, такие непохожие на безобидную фауну в заповедниках, к которой они привыкли. Бьюсь об заклад, им было невдомек, что пиррянские животные к тому же наделены телепатическими свойствами.

— Опять этот вздор! — рявк-

нул Бруччо. — Даже если они телепаты, это ровным счетом ничего не значит. Ты почти убедил меня своей теорией о том, что атаки на город направляются телепатически, но твой катастрофический провал показал, чего стоит эта теория.

— Согласен, — ответил Язон. — Я ошибался, когда думал, что атаки на город направляются телепатическими импульсами извне. Тогда мне эта гипотеза казалась вполне логичной и обоснованной. Верно, экспедиция на остров кончилась катастрофическим провалом, да только вы забываете, что ваше решение было прямо противоположным тому, что я предлагал. Пойди я в пещеру, обошлось бы без жертв. Думаю, мне удалось бы выяснить, что эти шевелящиеся растения — специфические организмы с необычайно высоким телепатическим потенциалом. Просто они особенно сильно отражали импульсы, которые питали атаки на город. А я все перепугал, думал, что они раздувают войну. Теперь они все уничтожены, и точного ответа мы не получим. Но в одном их гибель помогла. Она показала, где надо искать подлинных виновников войны, кто на самом деле направляет и вдохновляет атаки против города.

— Кто? — выдохнул Керк.

— Да вы сами, кто же еще, — ответил Язон. — Конечно, не только вы четверо, а все жители города. Я готов допустить, что война вам не по душе. И тем не менее вы ее зачинщики, вашими стараниями она продолжается.

Он с трудом удержался от улыбки, глядя на их ошарашенные лица. Лучше поспешить с объяснением, а то, чего доброго, собственные союзники тоже сочтут, что он помешался.

— Сейчас вы поймете. Я уже сказал, что пиррянские организмы наделены телепатическими свойствами. Это относится ко всем — к насекомым, к растениям, к животным. Когда-то в разгар буйного прошлого Пирра это качество помогло телепатическим мутациям устоять в борьбе за существование. Другие виды вымирали, а они уцелели. Я уверен, что под конец они даже сотрудничали, сообща вытеснили последних представителей другой породы. Сотрудничество — вот девиз для Пирра. Соперничая между собой, они вместе давали отпор всему, что угрожало их племени. Какое-нибудь стихийное бедствие, потоп — они в полном согласии спасаются бегством. Что-то в этом роде можно наблюдать

на любой планете, где бывают лесные пожары. Но здесь особенно суровые условия, и взаимопомощь достигла очень высокого уровня. Возможно, некоторые организмы даже наделены даром предчувствовать близкую катастрофу. Вроде того, как некоторые из вас предсказывают землетрясения. Благодаря предупреждению крупные животные уходят от беды. А самым мелким видам помогли уцелеть особые семена, или шипы, или яйца, которые переносились в безопасное место либо с ветром, либо с мехом большого зверей. Да-да, так и было, я уверен, я же сам видел такое бегство, когда мы уходили от землетрясения.

— Ладно, допустим, что все было так! — крикнул Бруччо. — Но при чем тут мы? Хорошо, все животные убегают вместе — какое отношение это имеет к войне?

— Они не только вместе убегают, — сказал Язон. — Они сотрудничают, чтобы противостоять стихийным бедствиям. Я не сомневаюсь, мы еще услышим восторги экологов, когда они начнут изучать сложный механизм приспособления, который срабатывает здесь, когда надвигается гроза, или половодье, или пожар, или еще какая-нибудь беда. Но нас сейчас интересует одна реакция. А именно та, которая направлена против горожан. Вы еще не догадались? Пиррянские организмы воспринимают вас как стихийное бедствие! Вряд ли удастся выяснить, как это началось. Хотя в дневнике, который я нашел, в записях о первых днях освоения планеты есть ключ к разгадке. Там говорится, что во время лесного пожара колонисты встретились с какими-то новыми видами. Точнее, животные были те же, что прежде, только они вели себя иначе. Как, по-вашему, могли реагировать на лесной пожар люди, которые прежде жили в условиях, можно сказать, тепличной цивилизации? Они, конечно, перепугались насмерть. Если лагерь находился на пути огня, животные, естественно, бежали через него. А люди, так же естественно, обстреляли их. И сразу же поставили себя в ряд стихийных бедствий. Мало ли в каком обличье выступает катастрофа. Скажем, в обличье двуногих с пистолетами. Пиррянские животные нападают на людей, люди убивают животных, начинается война. Уцелевшие продолжали атаки и по своему оповестили все организмы планеты о том, что происходит. Здешняя радиоактивность способствует всевозможным мута-

циям. Дальше в борьбе за существование сохранялись прежде всего те организмы, которые были опасны для человека. Я не удивлюсь, если телепатический потенциал тоже поощряет мутации. Уж очень специализированы некоторые, наиболее опасные виды, не могут они быть просто плодом естественной эволюции за триста-четырееста лет. Посленцы, понятно, давали отпор, оттого их и дальше воспринимали как стихийное бедствие. Они все время совершенствовались своим оружием, но проку от этого, как вам известно, не было никакого. Вы, горожане, унаследовали их ненависть к Пирру. Вы все воюете, и все ближе ваш полный разгром. Разве можете вы победить, когда против вас биологические ресурсы целой планеты, которая каждый раз, можно сказать, перерождается для противоборства?

Стало очень тихо. Керк и Мета побледили, потрясенные словами Язона. Бруччо что-то бормотал себе под нос и загибал палец за пальцем, подыскивая контраргументы. Что до Скопа, то он остался без внимания всю эту галиматью, которой он не мог или не хотел понять. Представься ему малейшая возможность, он бы тут же пришёл Язона.

Первым заговорил Рес. Он быстрее подвел итог.

— Не сходитесь, — сказал он. — А как же мы? Мы ведь живем среди пиррянской природы без периметров и пистолетов. Почему на нас никто не нападает? Мы такие же люди, у нас с жестянщиками одни предки.

— Вас не трогают, потому что не ставят вас в ряд со стихийными бедствиями, — отвечал Язон. — Животные могут жить на склонах дремлющего вулкана, между ними будет идти обычная конкуренция. Но придет время спастись от извержения, и они вместе обратятся в бегство. Извержение делает вулкан стихийным бедствием. Теперь берем человека. Будет ли местная фауна воспринимать его просто как живое существо или как стихийное бедствие, зависит от его мышления. Есть просто гора, а есть вулкан. Люди города излучают подозрительность и вражду. Убивать, думать об убийстве, подготавливать убийство — для них норма и удовольствие. И тут как бы идет естественный отбор, понимаете? Ведь в городе именно это свойство лучше помогает выживанию. Живущие вне города мыслят иначе. Когда кому-то из них лично что-то угрожает, он борется за жизнь, как и всякое существо.

А перед лицом общей угрозы они во имя выживания сотрудничают с окружающими их животными, подчиняются закону, которым горожане пренебрегают.

— Но как же разделились эти две группы, с чего все началось? — спросил Рес.

— Разве теперь узнаешь?.. Мне думается, ваши люди с самого начала были фермерами, многие обладали телепатическим даром. И во время стихийного бедствия, от которого все пошло, находились в другом месте. По пиррянским меркам они вели себя правильно и благополучно выжили. Дальше пошли разногласия с жителями города, которые считали убийство единственным решением. Как бы то ни было, очевидно, что еще в давние времена возникли две общины. А потом они и вовсе изолировались, если не считать выгодной для обеих сторон меновой торговли.

— Все равно не могу поверить, — пробурчал Керк. — Как ни похоже это на неумолимую истину, не могу согласиться. Тут должно быть какое-то другое объяснение.

Язон медленно покачал головой.

— Другого объяснения нет и быть не может. Другие мы сами исключили, ты забыл? Я очень хорошо тебя понимаю, ведь это опровергает все, что ты привык считать истиной, что для тебя равносильно закону природы. Допустим, я начну доказывать тебе, что тяготения в привычном для тебя понимании нет, а есть сила, которой можно до какой-то степени управлять, если знать способ. Ты, само собой, скажешь, что тебе мало слов, подавай доказательство. Пусть, мол, кто-нибудь пройдет по воздуху, а? Между прочим...

Язон повернулся к Наксе.

— Ты не чувствуешь, около корабля есть сейчас какие-нибудь животные? Не привычные вам, а мутанты, из той свирепой породы, которая только вокруг города водится?

— Их тут тьма-тьмушая, — ответил Накса. — Так и ищут, кого порешить.

— А ты не можешь поймать одного? Но только чтобы он тебя не убил.

Накса презрительно фыркнул.

— Еще не родился зверь, который стал бы мне вред творить, — сказал он, идя к выходу.

Ожидая Наксу, все погрузилось в размышление. Язону нечего было добавить к тому, что он уже сказал. Осталось провести один опыт — может, факты их

убедят, потом пусть каждый сам решает.

Говорун скоро вернулся с шипокрылом на ремennom поводке. Пленный зверь метался в воздухе и издавал пронзительный писк.

— Стань посередине, подалее от всех, — попросил Язон. — Ты можешь заставить его сесть на что-нибудь?

— Да хоть на мою руку. — Накса дернул шипокрыла и подставил ему руку. — Вот так я его поймал.

— Кто-нибудь сомневается, что это настоящий шипокрыл? — сказал Язон. — Все должны быть уверены, что тут нет подвоха, мне это очень важно.

— Настоящий, — подтвердил Бруччо. — Я слышу запах яда.

Он показал на когти по краям крыльев, потом на пятна на рукавице.

— Если разьест рукавицу, это му человеку крышка.

— Итак, шипокрыл настоящий, — заключил Язон. — Смертельно ядовитый, как и все шипокрылы; и для подтверждения моей гипотезы достаточно, чтобы кто-нибудь из вас, горожан, подошел и прикоснулся к нему, как Накса это делает.

Все четверо невольно отпрянули. Для них шипокрыл олицетворял смерть. Так было, так есть, и так будет. Законы природы нерушимы.

— Мы... не можем, — ответила за всех Мета. — Этот человек живет в джунглях, он сам все равно как зверь, вот и научился ладить с ними. Но чтобы мы...

Язон перебил Мету, не дожидаясь, когда до говоруна дойдет оскорбительный смысл ее слов:

— Да, и вы тоже можете. В этом вся суть. Не питайте к этому зверю ненависти и не ждите неперенной атаки — и он не нападет. Вообразите, что это какая-нибудь безобидная тварь с другой планеты.

— Не могу! — крикнула Мета. — Это шипокрыл!

Пока они говорили, Бруччо медленно двинулся вперед, пристально глядя на зверя, сидящего на рукавице. Язон сделал знак арбалетчикам, чтобы не стреляли. Бруччо остановился на безопасном расстоянии от шипокрыла, не сводя с него глаз. Шипокрыл расправил свои кожистые крылья и зашипел. На кончике каждого когтя выступили капли яда. В отсеке царил мертвая тишина.

Бруччо осторожно поднял руку. Поддержал ладонь над шипокрылом. Потом слегка коснулся его головы и сразу опустил руку.

Зверь сидел смиренно, только чуть вздрогнул.

Все, кто следил затаив дыхание за этой сценой, облегченно вздохнули.

— Как ты это сделал? — глухо спросила Мета.

— А? Что?.. — Бруччо явно сам был поражен случившимся. — А, ну да, как я к нему прикоснулся... Очень просто. Я представил себе, что это макет с нашего тренажера, безобидная подделка. И больше ни о чем не думал, вот и получилось.

Он посмотрел на свою руку, потом на шипокрыла.

— Но ведь это не макет, — продолжал он задумчиво. — Это настоящий зверь. Смертельно ядовитый. Инопланетник прав. Прав от начала до конца.

Глядя на Бруччо, Керк тоже решился. Он шел, как на казнь, еле переставляя ноги, с каменным лицом, по которому катились струйки пота. Но ему удалось настроиться на нужный лад, не думать о шипокрыле как о враге, и он тоже коснулся зверя без каких-либо последствий для себя.

За ним и Мета сделала попытку, но не сумела одолеть ужас, который охватил ее, когда она приблизилась к шипокрылу.

— Я изо всех сил стараюсь... — произнесла она. — Я уже верю тебе... Нет, все равно не могу.

Скоп, когда все повернулись к нему, закричал, что это сплошной обман, потом бросился на арбалетчиков, и его оглушили ударом приклада.

Но пирряне уже прозрели.

— Что же будет теперь? — спросила Мета.

В ее голосе звучала тревога, которую разделяли не только все собравшиеся в отсеке, но и тысячи пиррян, смотрящих в эту минуту на экраны своих визифонов.

— Что будет теперь?

Они глядели на Язона и ждали ответа. Ждали горожане. Ждали арбалетчики, опустив свое оружие. Распри на время были забыты. Этот инопланетник внес смятение в привычный старый мир, все перевернул, и они как бы очутились в новом, неведомом мире, перед лицом необычных проблем.

— Погодите. — Он поднял руку. — Я не врачеватель социальных недугов. Куда мне думать над тем, как исцелить эту планету силачей и снайперов. Я и без того только чудом дотянул до сегодняшнего дня, а по закону веро-

яностей мне уже раз десять полагалось быть убитым.

— Хотя это и верно, Язон, — сказала Мета, — но, кроме тебя, никому нас выручить. Как ты все-таки мыслишь себе наше будущее?

Внезапная усталость заставила Язона сесть в пилотское кресло. Он обвел взглядом обступивших его пиррян. Лица вроде бы искренние. И никто не обратил внимания, что он уже давно убрал руку с тумблера топливного насоса. Междоусобицы забыты, во всяком случае, на время.

— Хорошо, я скажу. Я много размышлял в эти дни, пытался найти ответ. И первое, до чего додумался, — это то, что идеальное решение, которое подсказывает логика, тут не годится. Да, да, боюсь, что из древней мечты о мирном соседстве льва и ягненка ничего не выйдет, кроме приятного завтрака для льва. Казалось бы, теперь, когда вы знаете причину, разумно было бы снести периметр и зажить всем вместе в мире и согласии. Но вдруг одному придет на ум, что корчевщики неопрятные, другому — что жестяники безмозглые, глядишь, и готов свеженький покойник. И пошли крошить друг друга, а кто возьмет верх, тех сожрут животные, которые заполнят незащищенный город.

Слова Язона вернули пиррян к действительности, и они сразу насторожились. Арбалетчики подняли свое оружие, а пленники отступили к стене и насупились.

— Вот-вот, я это самое и подраумевал, — сказал Язон. — Не надолго вас хватило, верно?

По лицам пиррян было видно, как им неловко, что они поддались безотчетному порыву.

— Чтобы придумать что-нибудь путное на будущее, — продолжал он, — надо учитывать инерцию. Во-первых, инерцию мышления. Истина в вашем представлении — это еще не истина на деле. В религиях примитивных миров научными фактами и не пахнет, хотя они и объясняют все на свете. Дикарь не сомневается в своей правоте потому, что верит. Мнимая логика строит замкнутый круг, на который не дозволено покушаться. Это и есть инерция мышления. Когда рассуждают по принципу: «Что всегда было, то всегда будет», — и упорно не желают бросить старую колею.

Но инерция мышления не единственный барьер на вашем пути, есть еще один вид инерции. Кто-то из вас согласился с моими рассуждениями и даже готов перестроиться. А как остальные?

Как те, которые не желают размышлять, предпочитают жить по старинке, подчиняться не рассудку, а рефлексам? Они будут тормозить любое ваше начинание.

— Выходит, все напрасно, наш мир обречен? — спросил Рес.

— Я этого не сказал. Мне только хотелось показать, что ваши проблемы не решши одним поворотом некоего мозгового переключателя. Лично я представляю себе три пути; и очень может быть, что развитие пойдет сразу по всем трем. Первый и наилучший путь — воссоединение городских и сельских пиррян. У тех и других есть пробелы, те и другие могут чем-то поделиться. Возьмем горожан, у вас наука и контакт с Галактикой. И кроме того, взаимостребительная война с природой. А ваши двояродные братья в джунглях живут в мире с планетой, но они лишены благ, которые дает наука, нет контакта с другими культурами. Вам следует объединиться и пожинать плоды сотрудничества. Для этого надо похоронить обоюдную ненависть, основанную на предрассудках. Но это можно сделать только вдали от города, где все пропитано войной. Идите добровольно к жителям леса, чтобы поделиться с ними знаниями. Вам никто не причинит зла. А они научат вас жить в ладу с Пирром.

— А с городом что будет? — спросил Керк.

— Город останется. И, скорее всего, не изменится. Пока будет идти расселение по планете, вам придется сохранять и периметр, и другие средства защиты, чтобы уцелеть. Найдутся люди, которых вы не сможете переубедить, которые там останутся и будут воевать до смерти.

Они молчали, пытаясь представить себе будущее. Скоп по-прежнему лежал на полу без движения, только постанывал.

— Ну а третий путь? — наконец заговорила Мета.

— Третий? — улыбнулся Язон. — Я хочу построить космический корабль, все свои деньги потрачу. Потом наберу здесь, на Пирре, добровольцев.

— Для чего? — недоуменно спросила Мета.

— Понимаешь, после всего, что я тут пережил, мне невозможно возвращаться к старому занятию. При моих нынешних деньгах это была бы пустая трата времени. А главное — я бы умер от тоски. Уж таков ваш Пирр — после него, если жив останешься, не потянет в тихое место. Вот я и задумал осваивать новые миры.

Ведь есть тысячи планет, где люди рады бы обосноваться, да условия слишком тяжелые для обычных переселенцев. А пирряне такую подготовку прошли — им любая планета ничем! Как, нравится вам такая идея?

Прежде чем кто-либо успел ответить, Язон вдруг ощутил дикую боль в горле. Очнувшись, Скоп вскочил с пола и стиснул шею Язона двумя руками. Арбалетчики не решались стрелять, боясь попасть в Язона.

— Керк! Мета! — рычал Скоп. — Хватайте pistols! Открывайте люки! Наши люди подержат нас, мы перебедем проклятых корчевщиков, уничтожим этих лжецов!

Язон силился разжать душившие его пальцы, но это было все равно, что дергать стальные прутья. У него померкло в глазах, в ушах стучало, он не мог вымолвить ни слова. Все кончено, он проиграл... Сейчас здесь начнется побойща, и Пирр так и останется планетой смерти для людей...

Мета бросилась вперед, словно отпущенная пружина, и в ту же секунду тренкнули арбалеты. Одна стрела попала ей в ногу, другая пронзила навывлет руку, но они не смогли ее остановить, и Мета, пролетев через весь отсек, очутилась рядом с теряющим сознание инопланетником, которого душил ее товарищ.

Замахнувшись здоровой рукой, она изо всех сил ударила Скопа ребром ладони по бицепсу. Его рука непроизвольно дернулась, и пальцы выпустили горло Язона.

— Что ты делаешь! — крикнул ошарашенный Скоп раненой девушке, которая навалилась на него.

Он оттолкнул ее, все еще держа Язона другой рукой. Тогда она, не произнеся ни слова, тем же жестоким приемом врзала ему по шее. Скоп захрипел, отпустил Язона и упал на пол, корчась от боли.

Язон видел все это точно в тумане.

С трудом поднявшись на ноги, Скоп обратил искаженное болью лицо к Керку и Бруччо.

— Уймись! — приказал Керк.

Скоп издал звук, похожий на рычание, и метнулся к оружию, сложенному в другом конце отсека. Но арбалеты пропели похоронную мелодию, и рука, которая дотянулась до пистолета, была уже рукой покойника.

Никто не тронул Бруччо, когда он поспешил к Мете, чтобы оказать ей помощь. Язон жадно гло-

тал животворный воздух. Через стеклянный глаз визифона весь город следил за происходящим.

— Спасибо, Мета... за помощь... и за то, что ты поняла, — через силу вымолил Язон.

— Скоп был не прав, — ответила она. — А ты прав...

Голос на секунду прервался — Бруччо, обломив зазубренный наконечник стрелы, выдернул ее за черенок из руки Меты, — затем она продолжала:

— Я не смогу остаться в городе, останутся только такие, как Скоп. Боюсь, что в леса уйти я тоже не смогу... Сам видел, не получилось у меня с шипокрылом. Если можно, лучше я пойду с тобой. Правда, возьми меня.

Язону еще было больно говорить, и он ограничился улыбкой, но Мета поняла его.

Керк удрученно смотрел на убитого.

— Он был не прав, но я хорошо представляю, что он чувствовал. Я город не брошу, во всяком случае, сейчас. Кто-то должен руководить, пока идет перестройка. А с кораблем ты хорошо придумал, Язон. В добровольцах недостаток не будет. Правда, Бруччо ты вряд ли уговоришь лететь с тобой.

— А зачем мне лететь? — про бурчал Бруччо, перевязывая Мету. — Мне и здесь, на Пирре, занятий хватит, одни животные сюда стоят. Не сегодня-завтра сюда экологи со всей Галактики нагрянут, да только я буду первым.

Керк медленно подошел к экрану, на котором был виден город, и остановился, глядя на здания, на столбы дыма над периметром, на зеленый океан джунглей.

— Ты все перевернул, Язон, — сказал он наконец. — Сейчас это еще не видно, но Пирр уже никогда не будет таким, каким был до того, как ты сюда явился. Не знаю, к лучшему он изменится или к худшему...

— К лучшему, к лучшему, — просипел Язон, растирая шею. — Ну а теперь пожмите-ка друг другу руку, чтобы люди на самом деле увидели, что распрям конец.

Рес повернулся, секунду помешкал, потом протянул руку Керку. Седому пиррянину тоже трудно было превозмочь укоренившуюся с детских лет неприязнь к корчевщикам.

Но они пожали друг другу руки, потому что настала пора перемен.

Конец

Сокращенный перевод
с английского Л. ЖДАНОВА

В. ОРЛОВ, наш спец. корр.

Фото автора

НА БЕРЕГУ

Ближе к осени, когда начинала рыжеть болотистая тундра и созревали грибы — лакомое блюдо оленей, Мериме все чаще выходил на высокий берег реки, где стояли его нарты. Отсюда хорошо был виден противоположный, низменный, заросший частым кустарником берег. Серовато-желтые оттели его все еще были пустыни и безжизненны. Но уже подошло то время, когда нагулявшийся у берегов океана и уходящий теперь от морозов на юг дикарь должен был появиться на их реке.

Уже не было комара, и иногда из серых туч вместо дождя вдруг начинал сыпать снег.

В теплой парке можно было долго сидеть и следить за рекой. Первыми должны были появиться большеерогие олени-самцы. Они всегда, как разведчики, шли первыми и первыми переправлялись и принохиваясь, прежде чем пуститься вплавь. Потом все чаще и чаще будут появляться небольшие, но день ото дня все увеличивающиеся стада, а позже, к заморозкам, появятся и все огромное стадо дикаря. Нганасаны никогда не держали больших стад домашних оленей в отличие от соседей — долган, ненцев, эвенков. Вся жизнь их была бесконечной дорогой, вечным странствием за стадами диких оленей. Летом, когда у оленей подрастали телята, нганасаны добывали ленного гуся, запасались рыбой. Зимой и весной — куропаткой. У них были собаки, обученные охоте на дикого оленя, и олени-манщики, но не так-то легко было добыть на снегу осторожного зверя. И все надежды впрок запастись шкурами и мясом возлагались только на осень. К поколке заранее готовились. Зная места, где олени обычно переправляются через реки, нганасаны задолго ставили неподалеку чумы и начинали следить за рекой, готовясь к охоте. Для всех это был праздник, для мужчин — своеобразный экзамен охотничьей сметки, мужества и мастерства.



Плывущих оленей кололи копьём с легкой лодки кухунгондуй из оленьих шкур, а позже — с деревянной лодки-ветки. На лодке этой невозможно встать, даже чтобы сидеть, требуется большая ловкость. Плавать нганасаны никогда не умели, и если случалось, что ветка переворачивалась, спаслись охотник мог, лишь уцепившись

за рога плывущего мимо оленя. Мериме трудно было усидеть в своей избе в такие дни. С тех пор как он перестал кочевать и поселился на фактории Новой, прошло много лет. Но, как и прежде, едва от холодов загорается пожар на кустах, его тянет на берег. В душе оживает давняя охотничья страсть, в предвкушении скорого пира он

становится оживленнее и веселее. Его жена, Тоби, нет-нет да и подойдет, сядет рядом, помолчит, а дочь все просит: «Расскажи, как вы жили тогда». И, вспоминая, как охотились старики, ему порой хочется оставить ружье и, как когда-то, выйти, на удивление молодым, на поколку с одним своим старым копьём.



ПОЧЕМУ СТРИГУТСЯ «ПОД БОКС»

Семнадцатилетний боксер Том Остпо из голландского города Коос стал жертвой... собственной прически во время своего первого поединка на турнире «Золотые перчатки». Достаточно было одного удара соперника, как длинные волосы полностью закрыли Тому лицо. Боксер практически ослеп. Рефери немедленно прекратил встречу и объявил поражение Остпо... техническим нокаутом.



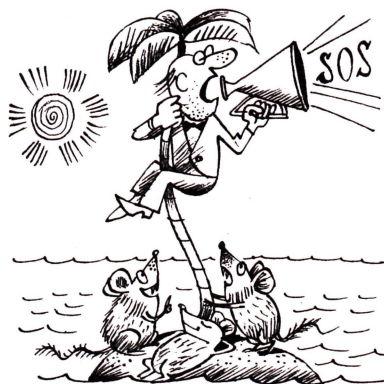
КАК СТАТЬ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬЮ?

Один путь разработал житель Амстердама Пауль Стапельс, хотя он вовсе и не стремился к этому. Судите сами — прошлое лето в Голландии выдалось жаркое, и хотя Амстердам лежит не в тропиках, очень хотелось искупаться в полдень. Каналов в Амстердаме множество, но купание запрещено, чтобы не создавать «омех движению» в «северной Венеции». Пауль взял обычные качели, привязал их к мосту и стал регулярно освежаться. Лично он не видел в этом ничего особенного. Разве виноват он в том, что туристские трамвайчики непременно теперь проходили мимо его моста, а гид говорил в микрофон: «Сейчас мы проезжаем под мостом, на котором ежедневно тренируется один молодой самоубийца. Пока он делает разминку».



КТО ВИНОВАТ?

«Во всяком случае не я», — утверждал Дэвид Грайндер из Трентона, уплатив 500 долларов штрафа. Почти то же самое твердил он и тогда, когда поздно ночью, барабана в дверь, пытался д-д-д-оказать супруге, что она совершенно не права, не пуская его домой. Отдадим должное Грайндеру: он не знал, что ему суждено стать первооткрывателем, то бишь первонарушителем, принятого в тот день нового закона штата Нью-Джерси. Дело в том, что Нью-Джерси — самый шумный штат США. Именно там и появился первый закон о борьбе с шумом, который уполномочивает департамент окружающей среды налагать на его нарушителей штраф до 3 тысяч долларов.

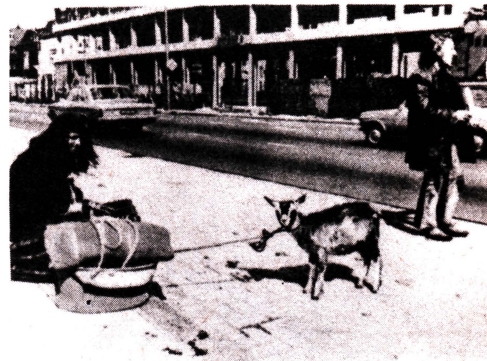


ТРЕБУЮТСЯ КОШКИ

Губернатор острова Бугенвиль срочно запросил у правительства Австралии помощи в деле истребления крыс, производящих в закромах островитян страшные опустошения. Отравленные приманки и хитроумные ловушки оказались малоэффективными, и местные власти решили, что единственно действенным решением будет присылка на остров двух тысяч кошек. Правительство Австралии согласилось с этим, и кошек начали готовить к отправке. Неожиданно в дело вмешалось Общество друзей животных и выразило резкий протест против отправки кошек, мотивируя его тем, что судьба кошек, когда они переловят всех крыс на острове, окажется весьма плачевной. Решение вопроса отложено впредь до выяснения всех обстоятельств, связанных с дальнейшей судьбой кошек.

ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ КОЗА

Турист, путешествующий по Европе «автостопом» с козой, это, безусловно, диковинка. Многие водители, заведя странную группу — швейцарца Роже Шмайсера, его подругу Жаклин и козу Джуди, — останавливались. Но редко кто из них соглашался везти всю троицу дальше. Вот без козы — сколько угодно! Но Шмайсер держался твердо. «Во-первых, коза — мой равноправный товарищ по путешествию, — говорил он. — А во-вторых, отношение к козе для меня — главный показатель добра и гуманности. Кто способен сегодня бросить на дороге козу, тот завтра оставит в беде человека. Таково мое убеждение». Фотоаппарат запечатлел туристскую группу Шмайсера в тот момент, когда она третий день безуспешно ожидала попутного транспорта. «Я не тороплюсь, — сказал Шмайсер. — Главное — вера в людей».



ЗА КОНЯ!

С 3 по 14 мая в Париже впервые работал — по примеру автомобильных и авиационных салонов — лошадиный салон. Публика наслаждалась видом конных гвардейцев, казачки вольтижировкой, скачками, гонками экипажей и прочим, и прочим, и прочим. На третий день салона триста всадников прогарцевали через Булонский и Венсенский лес к зданию мэрии на митинг под девизом: «Автомобиль убивает, автомобиль отравляет. Да здравствует конь!»

ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИ СХОДЯТСЯ...

С профессиональной глотательницей огня мисс Элеонорой Бэртон сочетался недавно законным браком некий Джордж Белкамп. Молодые люди познакомились в варьете, где ежедневно со своим номером выступает прекрасная огнеглотательница. При этом оба были при исполнении своих служебных обязанностей, ибо Д. Белкамп работает в том же варьете пожарником...



Каждое утро из деревни Виндхук в Юго-Западной Африке отправляется на пастбище стадо коз. Удивительна в столь обычной сцене лишь персона пастуха: в этом стаде пастухом работает обезьяна — самка бабуина по кличке Ала. Ала знает «в лицо» всех своих подопечных и наблюдает за ними с дерева, а то и усевшись на самую высокую из коз. Отбившихся от стада она наставляет на «путь истинный» прутиком. Вечером, в краале, бабуин заботливо наблюдает за своими питомцами. Когда коза-мать зовет своего козленка, Ала сразу бежит за ним и приводит; если же хозяин стада случайно подводит козленка к чужой козе, неумолимая обезьяна моментально восстанавливает справедливость. За всю эту работу она получает гроздь бананов и притом не требует прибавки...



Рисунки В. ЧИЖИКОВА

Бывает, что башни и дома меняют место своей постоянной прописки и отправляются в далекий путь: в XX веке по большей части — за океан, где каждый миллиардер средней руки норовит приобрести себе подержанный родовой замок. Вместе со средневековыми замками и крепостными стенами уплыл за океан и лондонский мост Тауэр-бридж.

Он уплыл в пустыню штата Аризона, в крохотный городок Лейк-Хавасу-сити. Городок этот много моложе моста: он появился на карте США только в 1963 году и сейчас насчитывает едва 5 тысяч жителей. Инициатором покупки компании «Мак-Кулло корпорейшн» — мистер Мак-Кулло-старший, заплативший лондонскому муниципалитету в 1963 году один миллион фунтов стерлингов. Расходы по восстановлению на новом месте знаменитого моста взяли на себя отцы молодого города. В их воображении уже рисовался маленький Лондон в аризонской пустыне: смотришь — и другие состоятельные горожане приобретут еще кое-что из достопримечательностей британской столицы. А пока... пока Лейк-Хавасу-сити лихорадочно готовится подняться до уровня приобретенной знаменитости. Изготовили наклейки для автомобилей, городские рестораны поменяли вывески и стали именоваться (по взаимной договорен-



ности): «Старый Лондон», «У моста», «Под мостом», «Адмирал Нельсон» и т. д. Наконец, одетый по такому случаю в парадное облачение лорд-мэра Большого Лондона мистер Мак-Кулло недавно «открыл» свое детище. Узким местом в Лейк-Хавасу-сити оставалась вода: ведь мосту надо над чем-то стоять, а реки в пустыне, как известно, нет. Пришлось срочно прорывать для этой надобности канал и насосами гнать по нему воду.

ПРАВДА ХОРОША, А...

Муниципалитет английского курортного города Клиторпса принял решение уволить Рэя Кемри, начальника местной метеостанции, за слишком пессимистические, хотя, к сожалению, и точные, прогнозы погоды. «Туманы и дождь в прогнозах — вот что от-

вращает туристов от посещения города», — решил муниципалитет.

В настоящее время администрацией приняты меры для подыскания другого метеоролога, как гласит объявление, «порядочного человека, честно сообщающего о хорошей погоде в славном городе Клиторпсе».

ЛИСТАЯ СТАРЫЕ СТРАНИЦЫ

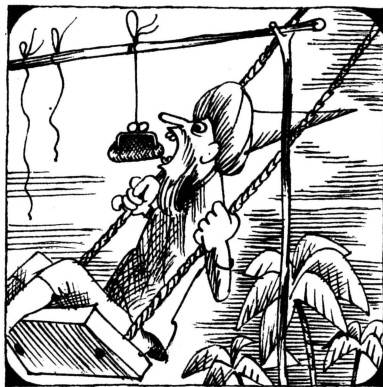
„Вокруг света“, 1912 г.

ПУТЕШЕСТВЕННИКИ ВОКРУГ СВЕТА — ВЕГЕТАРИАНЦЫ

С целью показать все превосходство вегетарианского образа питания и его благотворного влияния на здоровье группа лейпцигских вегетарианцев из шести человек — трех мужчин и трех женщин — собралась совершить кругосветное путешествие пешком. Им оказали поддержку германские вегетарианские клубы, и они выступили в путь на паске. Путешественники предполагают отправиться через Швейцарию и Италию в Грецию, затем в Малую Азию, Индию, Китай, Японию, Мексику. Соединенные Штаты, Ирландию, Англию, Скандинавию и вернуться в Лейпциг. Они думают употребить на свое путешествие шесть лет. Они берут с собой собаку и осла для багажа. В больших городах предполагаются останки, лекции о преимуществе безубойного питания.

БРАМИНЫ, ЛОВЯЩИЕ ЗУБАМИ КОШЕЛЕК С МОНЕТАМИ

По окончании жатвы в Бангкоке, столице Сиам, справляются народные празднества в течение трех дней, и одним из любимых



зрелищ бывает так называемое «празднество качелей». Против дворца короля на шест привешиваются три мешочка с монетами, а напротив шеста устраиваются качели. Зрелище состоит в том, что качающиеся — большею частью брамины в белой одежде и остроконечной шапке — стараются зубами схватить один из подвешенных кошелечков. Схвативший его получает все находящиеся в нем монеты. Брамины смеются несколько раз, пока все кошелечки не снимутся. После того победители идут в толпу и кропят ее из буйволовых рогов освященной водой.

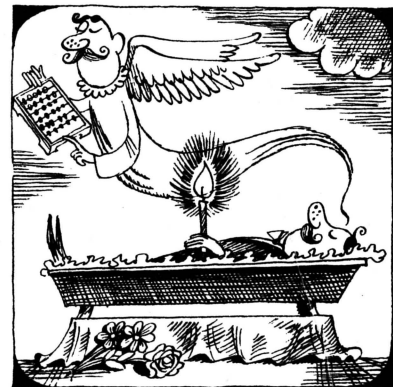
ФЕНОМЕНАЛЬНЫЙ СЧЕТЧИК

В Париже умер на днях на 31-м году знаменитый «счетчик» Артур Гриффит, превосходящий своими способностями пресловутого Жака Иноди. Гриффит — американец по рождению. Несколько лет тому назад он давал сеанс в университете Говарда, где ему предложили следующую задачу:

«Если бы население Бостона превосходило на 60% сумму всех чисел от 1 до 14 107, и если бы каждый из жителей подарил бы вам по яйцу, которого дюжина стоила бы 2 фр. 5 с., и если бы эти деньги поместить под сложные 3%, то какую сумму это составило бы за 25 лет?»

Гриффит разрешил эту задачу наизусть в три минуты.

Скончался Гриффит от воспаления в мозгу.



СОДЕРЖАНИЕ

Л. ОЛЬГИН — «Океан» у залива	2
Фоторепортаж с острова Кихну	5
НАДИР САФИЕВ — Обыкновенный человек Петерис Упитис	8
В. АРСЕНЬЕВ — Три дня и три ночи в августе	12
Загадки, проекты, открытия	18, 47, 57
Ю. ЛОЩИЦ — Отблески	21
У очага	25
ИШТВАН ФЕКЕТЕ — Венгрия лесная	28
ЮРИЙ СЕНКЕВИЧ — На «Ра» через Атлантику	32
И. ГОРЕЛОВ — «Ультра» — слева и справа	40
А. АНТОШИНА — Тайна Санторина — тайна Крита?	48
И. МОЖЕЙКО — Двенадцатый праздник	52
С. СЕМАНОВ — «Ермак» встречает льды	54
Б. ФРОЛОВ — Дело об Альтамире	60
ГАРРИ ГАРРИССОН — Неукротимая планета	66
В. ОРЛОВ — На берегу	76
Пестрый мир	78
Листая старые страницы	79
С. ФАН — Подчинившие море и ветер	80

На первой странице обложки: **СЕНЕГАЛ**. Дакарская красавица.

На второй странице обложки: **ТАТАРИЯ**. Здесь издавна принято украшать ворота изображением солнца. Круг с расходящимися лучами иногда занимал все ворота, разламываясь пополам, когда их открывали. Иногда солнцу было два, по одному на каждой половине. В наше время все чаще стали появляться ворота пустые, без солнц вовсе, и, когда люди в одном из сел неподалеку от Арска стали было к этому привыкать, на их улице появились вот такие ворота с четырьмя солнцами. И все заметили, что улица стала красивее, а про плотника, сделавшего их, пошла молва, что у него будто бы руки золотые. Фото В. ОРЛОВА.

Главный редактор А. В. НИКОНОВ

Члены редакционной коллегии:

В. И. АККУРАТОВ, А. В. ГУСЕВ, И. М. ЗАБЕЛИН, М. М. КОНДРАТЬЕВА, В. Л. КУДРЯВЦЕВ, В. А. ЛЕБЕДЕВ (заместитель главного редактора), Ю. Б. САВЕНКОВ, А. И. СОЛОВЬЕВ, Л. А. ЧЕШКОВА, В. М. ЧИЧКОВ, Г. И. ЯНАЕВ

Оформление А. Гусева и Т. Гороховской

Рукописи не возвращаются Технический редактор А. Бугрова

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК ВЛКСМ «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Наш адрес: Москва, А-30, Суццевская, 21. Телефоны для справок: 251-15-00, доб. 2-29; отделы: «Наша Родина» — 3-93; иностранный — 2-85; литературы — 3-58; науки — 3-38; писем — 2-68; иллюстраций — 3-16; приложение «Искатель» — 4-10.

Сдано в набор 10/VII 1972 г. Подп. к печ. 10/VIII 1972 г. А11002. Формат 84×108¹/₁₆. Печ. л. 5 (усл. 8,4). Уч.-изд. л. 12. Тираж 2 400 000 экз. Заказ 1330. Цена 60 коп.

Типография изд-ва ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Москва, А-30, Суццевская, 21.

ПОДЧИНИВШИЕ МОРЕ И ВЕТЕР

Финикийцами называли их древние греки. Сами себя финикийцы называли — «сыновья ветра», «дети моря».

Во-первых, ветер нес по морю финикийские корабли, и не было в известном древнем мире места, где бы не бросили они свой якорь.

Во-вторых, из моря добывали финикийцы раковину, из которой делали пурпурную краску, и она служила им неисчерпаемым источником богатства.

В-третьих... в-третьих, был у финикийцев еще один источник доходов — крупных, устойчивых и надежных. Мы имеем в виду соль, ибо в те далекие времена люди нуждались в ней не меньше, чем сейчас. И соль давали все те же море и ветер.

...Отгороженный от моря невысоким каменным барьерчиком мелкий бассейн. За ним другой — помельче. Затем еще один — еще помельче. У самого моря — вертикальное колесо с черпаками. Колесо насажено на вал, к которому прикреплены крылья, совсем как у ветряной мельницы. Когда дует ветер, вертится колесо, черпаки зачерпывают воду из моря и выливают ее в первый бассейн. Наполнится он, вода переливается в следующий — и так далее. Жаркое солнце выпаривает воду, и оседает на дне бассейна, выложенном камнями, соль. Подобные сооружения на побережье Ливана можно увидеть и сейчас; они, конечно, значительно моложе, но, главное, принцип тот же (см. 3-ю страницу обложки).

Финикийцы были в торговле солью монополистами. Благодаря этой монополии появилось у финикийцев еще одно имя — «соленые». Но сами себя они, как мы знаем, называли иначе — гордо: «сыновья моря и ветра».

Ведь подчинять себе море и ветер они умели так, как никто иной...

С. ФАН



Цена 60 коп.

Индекс 70142

14-11



ЮГОСЛАВИЯ



ссср

путник
Бюро международного
молодежного туризма

